
АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН
КРАСНОЕ
КОЛЕСО
ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ
УЗЕЛ III
МАРТ
СЕМНАДЦАТОГО
КНИГА 3

Александр Солженицын

Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 3. Том 7

«ВЕБКНИГА»

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 3. Том 7 /
А. И. Солженицын — «ВЕБКНИГА»,

ISBN 978-5-96-912447-9

Конец династии? Великий князь Михаил не принял престола от своего отрекшегося брата. Читатель следит, как революция утверждается в Петрограде, Москве; как она приходит в Ростов, на Дон, на Тамбовщину. Повсюду распад властей. Действующую Армию сотряс разосланный Исполкомом «Приказ № 1». Во множестве воинских частей, фронтовых и тыловых, – развал и произвол. Офицерство подорвано необратимо. Бунт на кораблях Балтийского флота; убийство адмирала Непенина. Арест Государя в Ставке, в Могилёве. Заточение его с семьёй в Царском Селе.

ISBN 978-5-96-912447-9

© Солженицын А. И.
© ВЕБКНИГА

Содержание

Третье марта 6
354 6
355 9
356 14
357 18
358 21
359 24
360 26
Документы – 12 29
361 30
362 34
363 37
364 38
365 40
366 42
367 45
368 47
369" 50
370 52
Документы – 13 54
371 55
372 57
373 59
374 63
Конец ознакомительного фрагмента. 64

Александр Исаевич Солженицын
Красное колесо. Том 7. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 3

Редактор-составитель **Наталия Солженицына**
Художественное оформление, макет **Валерий Калныньш**

ВРЕМЯ

© А. И. Солженицын, наследники, 2022
© © Н. Д. Солженицына, составление, 2022
© «Время», 2022

* * *



Вермонт, начало 80-х

Третье марта
Пятница

354

Нельзя было не зажечься, что участвуешь в великих минутах России! Пока во Пскове в царском вагоне на скрытой зыби переговоров подныривало и выныривало русское будущее, инженер Ломоносов когтисто-тигристыми шагами, с каждым отрывом ноги как бы забирая на ботинок частицы пола, расхаживал из кабинета в кабинет, от телефона к телефону, а больше – к переговорному аппарату, связь которого со Псковом не размыкалась. На том конце сидел железнодорожный инспектор, поехавший с Гучковым обезпечивать дорогу, и рассказывал всякие мелочи из своих наблюдений.

Эта минута, измечтанная, изжеланная столькими поколениями русской интеллигенции, столькими революционерами, уходившими в ссылку и в эмиграцию, сказочная недостижимая минута, – вот она, вязалась и происходила в глухой неизвестности в зашторенном вагоне на полутёмном псковском вокзале, – и когда бы мог представить себе бывший кадетик и бывший студент-путеец Юрий Ломоносов, что, может быть, это он будет тем первым человеком в российской столице, кто первый выловит, вырвет весть об отречении деспота и бросит её на волны свободной ликующей России! (И упомнят ли его заслугу?) Юрий Владимирович наслаждался сейчас каждым своим взглядом, каждым движением, шуткой, каждым взятием телефонной трубки, каждым перебором текущей ленты.

Страшно волновались и ждали в Таврическом, но не имели прямой связи со Псковом. И Родзянко распорядился, чтобы акт отречения, как только он возникнет, был бы передан по телеграфу шифром в министерство путей сообщения, а отсюда по телефону – в Таврический.

А Бубликов, больно уязвлённый своим неназначением в министры, и даже особенно поэтому, распорядился: первую же деловую ленту из Пскова подать ему первому в кабинет.

И так, после того как Псков сообщил, что депутаты вышли из царского поезда, – Бубликов стал к аппарату ожидать последующего.

Наступило новое получасовое томление. Лента не шла. Отказал?? Не отрёкся?? Там, во Пскове, уже знали, но ничего не сообщали. Или шифровали.

Наконец – пошла! И Бубликов принял её, и унёс тайну. Не открывая двери, не делясь – сам же первый передал кому-то в Таврический. И наконец поделился с Ломоносовым как наградой: что это была короткая телеграмма Гучкова Родзянке: *«Согласие получено»*! Но пока не притечёт сам Манифест – об этом ни гугу.

Так что – не бросить по российским волнам, разве шепнуть верным сотрудникам, Рулевскому или Сосновскому. Грянуть – не удавалось Ломоносову.

Sic transit…! Вот – был император великой страны, и – враз превратился в *бывшего*, и уже ни в ком не вызовет ни угодливости, ни уважения, ни сожаления.

Опять потекла лента, не шифрованная, но и нисколько не об отречении. А просил Псков по поручению Гучкова назначить императорскому поезду маршрут в Ставку.

Ломоносова взорвало: они там сошли с ума! Как же можно отречённого деспота – да отпускать в Ставку? отдавать ему в руки всю армию?! Это – новый переворот!

– Александр Александрович! Это выше моего понимания! Что делает Гучков? Пожалуйтесь в Думу!

Бубликова как кипятком обдали – и он схватил трубку.

Однако он установил отдаление: ни Ломоносов и никто не должен дальше присутствовать при его телефонных разговорах.

Только слышно было, что он возражает резко, что он почти кричит.

И вышел на порог кабинета разочарованный:

– Приказано отпустить в Ставку. И очень торопят Манифест. Спросите, почему не передают.

– Там, во Пскове, его отдали шифровать военному коменданту. И отказываются передавать по нашим линиям, хотят – по военным, в Главный штаб.

Ещё одно разочарование: из главного нервного центра их отшвыривали в боковое министерство.

– Жалуйтесь Гучкову!

– Гучков сказал: всё равно.

Отбросили их.

Бубликов понурился, ушёл в кабинет. Но едва ли, чтобы спать.

А Ломоносов, не теряя тигристого шага, – расхаживал, расхаживал – и вдруг изобрёл! И позвонил в Думу, в Военную комиссию:

– Вот вы получите Манифест – а где вы его намерены печатать?

Ведь у Думы нет своей типографии. Государственная типография и все другие в разгоне и забастовках.

– А мы, в типографии министерства путей сообщения, – можем! У нас служащие – на местах.

Там – и сами не подумали, раззявы. Там – рады предложению. Хотя ещё важничают:

– Но, понимаете, это большая секретность. Надо так печатать, чтоб никуда не утекло прежде времени.

Ломоносов ликовал над трубкой, и с военными интонациями:

– У нас отличная организация! Никуда не вырвется! И своя охрана. Можем всех незанятых служащих отпустить и ввести в типографию караул.

Сговорились. Отлично! Обрадовал Бубликова, а то он приуныл. Новые возможности.

Но теперь тормозил Псков: военный комендант удивительно медленно шифровал. А потом ещё будет передавать по военной линии. А потом будет расшифровывать полковник Главного штаба. Дело долгое, ещё на четверть ночи.

Бубликов решил спать, поручая Ломоносову: как расшифровка кончится – послать к этому полковнику автомобиль с двумя солдатами, везти один экземпляр на чтение в Думу, второй – сюда на печатанье. Как раз и будет уже утро, соберутся служащие типографии.

Бубликов лёг в кабинете – но тем более Ломоносов не ляжет в эту ночь, не упустит своего жребия, такие ночи не повторяются! Он расхаживал, расхаживал, собирая ясность.

Тут явился ротмистр Сосновский, очень красный, громкий и чрезвычайно весёлый. Видно, хорошо хлебнул там, в министерской квартире.

Вина! – это идея. Чего сейчас хотелось – это хорошего вина!

– Ротмистр! Надо принести бутылочку хорошего мне на дежурство.

Немного сгримасничал ротмистр: час поздний, воспитание мешает, но – дружба и служба, всё вместе. Блудливо улыбнулся. Пошёл и принёс бутылку отличной мадеры.

Теперь стало дежурить гораздо веселей. Но рождались и нетерпеливые мысли: что-то слишком долго Манифест замялся в Главном штабе, всё не готово, всё расшифровывается. Потом: одно место не поддаётся расшифровке, потребуется вторичная передача.

Очень странно. Очень подозрительно. А нет ли здесь монархического заговора: задержать Манифест пока в штабах – а тем временем что-то случится, кто-то поможет?..

Да, конечно, тут заговор чёрных сил! Это – ясно. Хотят скрыть Манифест и устроить контрпереворот.

– Так что же, полковник, можно посылать автомобиль за актом?

– Какой автомобиль?

– Везти его в Думу.

– Простите, профессор, не понимаю, при чём тут вы? Псковская телеграмма адресована Начальнику Главного штаба. Я сейчас кончаю расшифровку и буду докладывать её по начальству.

Ах так? Ну, совершенно ясно! – контрреволюционный офицерский заговор!

Первая мысль: обрезать у того полковника все телефонные линии, чтоб он не мог сговариваться. Псковскую линию – это в наших руках, через Северо-Западную дорогу. А городской телефон? – звоним на городскую телефонную станцию: именем комиссара Бубликова – выключить телефон полковника Шихеева.

Бубликов спал, и фантазия Ломоносова, подогретая вином, расходилась.

Хорошо. Теперь – просить у министра юстиции Керенского разрешения на арест полковника, желающего скрыть отречение.

Керенский – бодрствует 24 часа, известно. И согласие его тотчас получено.

Всё! Гнать грузовик с солдатами в Главный штаб, как-нибудь выхватить полковника вместе с копиями акта – и везти в Таврический!

355

Адмирал Колчак был человек решительный до последней крайности. Он не только был способен к смелым решениям, но не был способен ни к каким иным. Ни в какой месяц своей бурной жизни, ни на какой службе он не мог бы просто пребывать, закисать. Везде он искал открыть и выполнить высшую задачу, на верхнем пределе своих сил.

Всегда порывался он участвовать там, где трудней. Кадетиком морского корпуса уже работал на Обуховском заводе, изучая артиллерийское, минное дело и ведение заводского хозяйства. (Отец там служил.) В первых же плаваньях лейтенантом стал заниматься океанографией и гидрологией. И уже тогда так верил в свою звезду, что держал целью: открыть Южный полюс! Но в южнополярную экспедицию попасть не смог. А тут барон Толль вдруг позвал Колчака гидрологом и магнитологом в северополярную экспедицию Академии Наук. Отец и братья были военные моряки, все знакомые семьи – тоже, но 1899, время мирное, – Александр отпросился с военной службы в научную. Побывал и учился у Нансена, строившего им корабль. (Полярные моряки – все братья.) Трёхлетняя экспедиция их, однако, не одолела льдов. От Новосибирских островов Толль отправил Колчака с коллекциями через Лену – готовить из Петербурга другой корабль, а сам настойчиво пошёл дальше на север – и исчез. В декабре 1902 в Петербурге решали, как спасать Толля: нельзя поплыть раньше весны. Колчак предложил и взялся выполнить отчаянный зимний план: сговорил четырёх архангельских поморов, опытных в плаваньи между льдами, и тотчас, в разгар зимы, погнал черезо всю Сибирь в устье Яны, туда же на собаках по снегу притащил из Тикси лучший вельбот с затёртого толлевского корабля – и так же, до вскрытия льдов, погнал на Новосибирские острова. И когда в июле океан ненадолго вскрывался – Колчак с поморами на вельботе между ледовых глыб пошёл к острову Беннетта, – там нашёл и записку Толля, и ещё последние коллекции. Из записки стало ясно, что Толль и его спутники погибли от голода. А Колчак на вельботе успел вернуться в устье Яны, не потеряв ни человека. Измученный тремя годами экспедиций, он достиг Якутска в январе 1904 – и тут узнал о начале Японской войны. Ни минуты больше в Академии Наук! и ни отпуска, ни отдыха, – он должен вернуться в военный флот и на фронт. Разрешение вырвал с трудом. Адмирал Макаров знал о Колчаке, океанографических его трудах, – и ещё до гибели адмирала Колчак уже водил в Жёлтом море миноносец «Сердитый», а потом видел взрыв «Петропавловска», а потом и сам подорвал на минах японский крейсер «Такосадо». Золотое оружие. Но не рассчитал сил, Полярье отомстило: месяц в воспалении лёгких, потом жестокий суставной ревматизм. Тут замирал и флот, все действия переносились на сухопутье, – Колчак отпросился командиром морской батареи в Порт-Артур и, преодолевая ревматизм, стоял там до дня сдачи. Полгода пробыл в плену, был признан инвалидом, среди них великодушно отпущен японцами на родину, и ещё полгода сдавал академические отчёты полярной экспедиции. Но позорно проигранная война горела в нём: флот и строили и водили невежественно, и корабли не умели стрелять. И Колчак, сердцем потонувший с каждым цусимским кораблём, стянул группу молодых энергичных морских офицеров в кружок: разработать научные основания организации флота, возродить его в мощном виде. Добились создания морского генерального штаба – и Колчак вошёл в него заведывать балтийским театром. Кружок рвался в облака! – но морской министр Воеводский сорвал всю программу судостроения и задержал восстановление флота на 2 года, были и конфликты с Думой. И Колчак в нетерпеньи рванулся снова в Полярье, на стальном «Вайгаче», выдерживающем ледовое давление: из Владивостока через Берингов пролив обогнуть всю Сибирь с севера. Но прежде того министр позвал Колчака назад – и осенью 1910 он вернулся на свой прежний пост в морском генеральном штабе.

Не было у Колчака ни связей, ни знакомств в высоких сферах, но по его выдающимся способностям его выталкивало вверх. С 1913 он стал при штабе Балтийского флота флаг-капитаном по оперативной части, правой рукой Командующего Эссена. Теперь флот бурно строился, но уже не успевали к ожидаемой в Пятнадцатом году войне – а она разразилась в Четырнадцатом! Ни дредноуты, ни подводные лодки у нас не были готовы. (Колчак за день до начала войны самовольно стал расставлять минные поля в Финском заливе, оберечь слабый флот, – и тут достигло от министерства: расставлять немедленно!) Через год он был уже в адмиральской должности, командовал минной дивизией и сбил прибрежное наступление немцев на Ригу. В июле 1916 он неожиданно получил телеграмму, что назначается командовать Черноморским флотом, – в 43 года! Отец его, Василий Иваныч, был морским артиллеристом в Севастополе в 1855 – и вот сын его ехал в тот же безсмертный Севастополь!

Он понял это как вопрос и требование к себе: что же он должен теперь совершить? Первая задача была: держать Чёрное море спокойным от нападения, обезпечить морское снабжение Кавказского фронта, чтоб ему не завязиться в диких густых горах. В самую ночь смены командования флотом, зная и дразня? – из Босфора появился быстроходный «Бреслау», – и в те же первые часы Колчак кинулся загнать его назад. Затем, сам наблюдая, установил перед Босфором минные поля, непроходимые и надводно и подводно, и держал там миноносцы на дежурстве, не давая туркам снимать мины. И так – держался хозяином Чёрного моря. Но тем неотвратимее и доступнее выдвигался к своей исторической задаче: взять Босфор и Дарданеллы! А ещё при попутном на юг проезде Ставки Колчак получил одобрение этого десанта и от Государя («по вашим свойствам вы лучше всего для этого пригодны»), да как будто и от генерала Алексеева, – и принял себе в жаркую цель.

Эта задача осветилась ему в таком несомненном свете, что даже странно было встречать в русских умах возражения и несогласия. После вступления Турции в войну как же было не ухватиться? Война сама сложилась так, чтобы нам выполнить вековую задачу. Зачем иначе мы вообще эту войну вели? – других целей нам в ней и не виделось. Целое столетие говорили и думали о проливах – и отчего же не брали теперь? Только без надобности пугали Европу, декларируя крест на святой Софии, – а проливы ждали подарком от союзников, и простая, прямая, единственная задача ведомой войны расплывалась в дипломатическом переминаньи и в ненужных сухопутных напряжениях Ставки на тысячу вёрст фронта. А совершенно ясно, что союзники никак не заинтересованы дарить нам проливы, и Англия всегда была главным препятствием, – и мы должны брать их собственными силами. Как раз сегодня Англия не может помешать, и к заключению мира мы можем владеть проливами реально. Это и Скобелев говорил: Константинополь взять *до* заключения мира, а иначе потом не дадут. Овладеть сейчас проливами – это значит и приблизить конец войны.

Дело было – вполне практическое, требовало лишь верной подготовки и молчаливой быстроты, и они уже реяли в груди Колчака и в действиях его. Теперь расчёт его был таков: из 45 турецких дивизий – почти все на Кавказском фронте да в Месопотамии, Аравии, Сирии. В Дарданеллах – две ослабленных дивизии, на Босфоре – всего две слабых, да ещё две в Македонии, но им их не подбросить быстро. И немцы не смогут прийти на помощь туркам раньше двух недель, а мощный немецкий крейсер «Гебен» в долгой починке. Установлено нашими агентами, что полевые укрепления Босфора пришли в запустение и не охраняются, артиллерия перенесена в Дарданеллы, наши миноносцы даже в лунные ночи без помех подходят к турецким берегам. Всё это даёт возможность высадиться у самого пролива: ночью протралить подступы, на рассвете высадить по дивизии с каждой стороны пролива, начать заграждаться минами, тем временем высадить третью дивизию с тяжёлой артиллерией, а ещё за двумя дивизиями отправить транспортную флотилию повторно. Трудный момент будет только до возврата каравана со вторым десантом и пока мы прикованы к узкой береговой полосе. Но утром взо-

шедшее за нашими спинами солнце будет слепить турок в момент начала нашего наступления. А к вечеру должен войти в Босфор и наш флот, – и путь к Константинополю свободен!

На одну дивизию пароходы с приспособлениями держались у Колчака постоянно. Ещё на две дивизии он стал устраивать этой зимой, чтобы быть готовым к маю: операцию можно провести только в июне-июле, там дальше неустойчивая погода, а потом и штормы, прервётся снабжение десантных войск. С минувшего ноября Колчак уже формировал первую десантную дивизию. (Присвоил ей морские знамёна, якорь на погонах и рукаве, а полки назвал: Царьградский, Нахимовский, Корниловский, Истоминский!)

Но Ставка, но безкрылый, недоверчивый Алексеев стал противиться всеми силами. Алексеев возражал, что это авантюра – высаживаться прямо в проливе, надо много дальше, основательно, а значит и силами четырёх корпусов, а значит, и невозможно, ибо неоткуда их снять. (Да хоть от Кавказской армии взять! – неужели они важнее в горных тупиках?) Наконец, вообще всякая высадка – сложна, мы видим позор дарданелльской операции союзников. Наконец, вообще такого предприятия не бывало в мировой истории – и как на него осмелиться?.. (Этой зимой, когда Алексеев лечился в Севастополе, Колчак виделся с ним, убеждая. Но и – безполезно. Но и – насмотрелся и увидел, что Алексеев не способен на дерзость, не из тех он полководцев. Он мыслит в догме сосредоточения превосходящих сил и не может поверить смелой операции малыми силами. А кроме того, он предан «континентальной идеологии», вся судьба этой войны – нанести удар немцам, а для того важней Балтийский флот. И также был он затмен затверженной политической доктриной опущенных рук: что Босфор и «сам возьмётся» после падения Германии, что будто ключи к Босфору – в Берлине.)

Так – были готовы у Колчака и флот, и средства перевозки, и можно было обойтись одними кавказскими дивизиями, – но не было окончательного распоряжения Ставки.

А вне порыва на Босфор оставались Колчаку операции на малоазийском побережьи, в согласии с Кавказским фронтом. На днях Колчак ходил на миноносце в Батум – встречаться с Николаем Николаевичем, – и от него тоже не получил поддержки по босфорскому десанту.

Почти в зубах держал Босфор! – а взять не мог.

Ещё не уйдя из Батума, 28-го, Колчак получил из Петрограда от министра Григоровича телеграмму – «расшифровать лично». И сообщалось в ней, что в Петрограде – крупные беспорядки, столица в руках мятежников и гарнизон перешёл на их сторону, впрочем: «в настоящее время волнения утихают». Показал великому князю – тот пожал плечами, ничего такого не знал, но отпустил скорее возвращаться.

Данник решений мгновенных и властных, Колчак ещё из Батума тотчас распорядился телеграфно секретно коменданту севастопольской крепости: прекратить всякое почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией, передавать только телеграммы для Командующего флотом и его штаба. Но той же ночью его миноносец принял из Константинополя от мощной немецкой радиостанции на испорченном русско-болгарском наречии – что в Петрограде революция и страшные бои. И что ж тогда скрывать? – все радио перенимаются на всех судах дежурными телеграфистами…

Придя в Севастополь 1 марта, Колчак получил телеграмму уже от Родзянки: что Временный Комитет Государственной Думы нашёл себя вынужденным, ко благу родины, взять в руки восстановление государственного порядка и призывает население и армию к помощи, чтобы не возникало осложнений.

Восстановить государственный порядок – это всегда хорошо. И Дума – достаточно авторитетный орган. Колчак вообще сочувствовал думским деятелям (а они и вовсе считали его своей надеждой, как и Непенина). Россия – должна развиваться, а многое костенелое мешает ей. Развиваться – да, но светлыми умами, а не кровавыми взрывами.

Пока оставалось много неясного.

Снеслись с морским штабом в Ставке – узнали только, что Государь выехал в Царское Село, обстановка и им не ясна, и директив адмиралу Колчаку не воспоследует.

Итак, самому и одному, Колчаку надо было решать: продолжать ли блокаду новостей? И – как стоять?

Затем продолжали приходить новые телеграммы, да не агентские, а от самого Родзянки: что уже вся правительственная власть перешла к Думскому Комитету, а прежний Совет министров устранён. Что Думский Комитет приглашает армию и флот сохранять полное спокойствие, питать полную уверенность, что война не будет ни на минуту ослаблена, но каждый офицер, солдат и матрос да исполнят свой долг…

Так-то – хорошо бы. Как будто самозвано – а как будто и вполне лояльно. Но – осуществима ли такая тряска во время войны?

А Ставка всё так же не могла ничего ни приказать, ни посоветовать, ни объяснить. И ничего не имела от Государя.

Колчак у себя на «Георгии Победоносце», штабе-линкоре на мёртвых якорях, уже отслужившем свои боевые походы, собрал совещание старших начальников. Сообщил им всё, что знал. Да уже были и новые радио из Константинополя: такая несусветица, будто в Балтийском флоте массовое избиение офицерства, а на фронте немцы повсюду быстро продвигаются. (А если правда?) Ещё при этом вздоре стало ясно, что на укрытии известий дальше долго не удержишься. И решил: отдать приказ по флоту, в нём изложить петроградские новости – и тут же призвать по радио весь свой флот и все порты к напряжённому патриотическому долгу. И – верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения, и не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить Россию до победы.

То и было страшно, что это – не в какое иное другое время, а – в войну.

И обидно было – состоять в полноте сил, во главе целого флота, целого моря с его портами, и быть в неведении и не знать, что делать.

Так снялся запрет Колчака – и новости петроградского мятежа хлынули в Крым.

Но как будто ничего худого тут не случилось. Служба продолжалась нормальным порядком, нигде никаких нарушений. Здесь, на Чёрном море, ни к какому бунту не приготовились.

А вчера пришла наконец Колчаку телеграмма от Алексеева – и поразительная: что обстановка не допускает иного решения, как отречение Государя, – и *если* адмирал разделяет этот взгляд, то не благоволит ли телеграфировать верноподданную просьбу.

Но истинной обстановки Колчак не знал, – почему она не допускает другого решения? – и Алексеев её не сообщал. А что делать, если адмирал *не* разделяет этого взгляда? – ничего сказано не было. Иной взгляд даже не предполагался.

Хотя и столь опытный генерал, а закопавшийся канцелярист, без свежего воздуха, без движения. Сорвал Босфор, теперь тянул на отречение Государя.

Да, Россия должна развиваться. И вокруг власти не должно плестись паутины тёмных пристрастий, просмотры должны быть чисты. Но никогда не понимал и не разделял Колчак гнева русского общества за проигранную Японскую войну – на правительство и Государя: виноваты были мы все, наши адмиралы, штабы и офицеры, в нашем невежестве, нерадении, лени, парадности, отсутствии всякой научной организации. Государственный строй – никак не мешает пушкам хорошо стрелять. Политика не могла иметь влияния на качество морского образования. Форма правления может быть разная – была бы прочная Россия. А если начинать с того, что теперь, во время войны, валить Государя, – то в какую бездну это ползёт? Это будет внезапный и губительный развал.

И что за странный, тёмный, заочный совет Главнокомандующих, которым ничего не объяснено?

Колчак, разумеется, не стал отзываться никак, выказывая презрение к такому образу поведения.

Но – понимал, что в эти часы что-то непоправимое развёртывается в Ставке, Пскове или Петрограде. А Колчак и узнать не мог, и вмешаться не мог, – и это было всего нестерпимей, потому что только в действиях разряжалась его натура, его быстрый нервный ум. Он любил деловую работу, любил опасности, войну и терпеть не мог партийной политики. А посмраживало ею сейчас, наносило.

Небольшого роста, сухощавый, стройный, лёгкий, с движеньями гибкими и точными, острым чётким профилем бритого лица, татароватый Колчак нервно ходил по флагманскому кораблю, взлетал на мостик, метуче оглядывал свои корабли и щурился в солнечное море, как если б оттуда могло придымить решение.

Он стал жалеть, что встреча в Батуме с Николаем Николаевичем не была назначена на три дня позже. Они могли как раз бы и обсудить: объединиться? – хотя трудно объединяться с великими князьями, слишком особо они себя чувствуют.

В руках их двоих был весь Юг. Флот Колчака и фронт великого князя составляли отдельное загнутое обособленное крыло Действующей армии. Что бы ни произошло за 2000 вёрст в Петрограде – они здесь, объединясь, могли создать прочную укрепу и противостояние любым событиям.

Николай Николаевич – лучший из великих князей, единственный способный к главнокомандованию, да и авторитет его признаётся повсюду в армии. Но готов ли он к твёрдому стоянию? При всей его вызывающе воинственной внешности, непомерно высокой фигуре воина, при всей его аристократической наружности, породистом длинном лице, красивом вырезе глаз, почти театральном эффекте от многих наслоившихся главнокомандований, – увы, всё же не чувствовал в нём Колчак надёжности безупречного союзника.

А ещё на Румынском фронте – Сахаров. Попробовать сговориться и с ним?

И день до конца, и вечер до конца так и протянулись без событий.

А ночью передали телеграфом из Ставки – отречение Государя!

Отречение, как можно понять из вчерашнего опроса, – вырванное.

И – почему не законный наследник?

Петроград в руках у банды, это ясно.

У Колчака уже всё было обдумано. При нём служил старший лейтенант, государев флигель-адъютант, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский – пасынок Николая Николаевича. Титулов много, а – молодой человек, готовый к приказу, и даже конструктор противолодочной бомбы. Колчак немедленно, ночью вызвал его и тут же заказал готовить к походу миноносец «Строгий».

Разбуженный молодой человек явился с тревожным и готовным блеском.

Колчак не давал ему бумаги: такие шаги совершаются устно.

Лейтенант стоял вытянутый. Адмирал для себя почти и не знал другой позы.

– Вы поедете сейчас к великому князю, вашему отчиму, и передадите ему от меня, запоминайте! Государь – отрёкся от престола.

Лейтенант вздрогнул, как от тока.

– Отречение носит характер вынужденного. Я предлагаю великому князю объявить себя военным диктатором России и предоставляю в его распоряжение Черноморский флот.

356

Как в лучших исторических легендах или сказках годами дожидаются принцы крови своего предсказанного воцарения, так и великий князь Николай Николаевич – вот дождался себе возврата регалий Верховного Главнокомандующего.

Вместе с супругой своей Станой черногорской и сестрой её Милицей, и её супругом, а своим братом Петром Николаевичем, и другими близкими, сочувственными лицами давно уже с сокрушением наблюдали они образ правления Ники, всю цепь его неумений, ошибок, глупых назначений, повсюду властную руку истерической его супруги, недостойные извращения в правлении государством, и грязного проходимца Распутина, и поживу финансовых дельцов вокруг него. Одно было рыцарски чисто и возвышенно во всём правлении – Верховное Главнокомандование, ведомое Николаем Николаевичем. Но внушаемый своею завистливой женой и обманутый наивным воображением о своих военных способностях, Ники принял роковое несчастное решение взять Верховное Главнокомандование на себя, а Николая Николаевича отправить на известное почётно-ссыльное место кавказского Наместника. Такова была неприкрытая интрига тёмных сил.

Однако Николай Николаевич переборол обиду и уныние, не опустил свою высокую голову, но перенёсся и сюда символом и любимым вождём, теперь уже не двенадцати армий, но всего лишь одной, с её командующим Юденичем. Юденич находился собственно с армией, в её переходах, в её порыве в глубь Турции и в Месопотамию, а Николай Николаевич пребывал во дворце Наместника, в Тифлисе, в центре Кавказа, обожаемый всем населением наместничества. Так, хотя и в уменьшенных размерах, он остался самим собою.

Отсюда, из изгнания, он с болью наблюдал всё новые и новые ошибки царского правления и разочарование и отчаяние общества, которое, напротив, продолжало любить его самого, это доплескивалось сюда через Хребет. И – молчал. И только в минувшем ноябре, в своё единственное посещение Ставки и в свою единственную после смещения встречу с Ники, – он с прямотою высказал своему державному племяннику о его вероломстве, о его доверчивости к подозрениям и сплетням, будто дядя хочет занять трон, и о чёрной бездне падения государственной власти. А Ники что ж? – как всегда, принял всё равнодушно.

Но когда к Новому году возвратился из Петербурга тифлисский городской голова Хатисов и на личной аудиенции сокровенно передал великому князю тайное приглашение от князя Львова – дать своё имя для возможного дворцового переворота, – Николай Николаевич невиданно взволновался, он потрясён был, как же гибельно зашли дела. Он взял время подумать. Это были сутки высокой мучительной мысли. Он понимал, что мог бы спасти страну. Он знал, насколько сам для России ценнее, нужнее и соответственней, чем его двоюродный племянник. Но путь великого князя или монарха должен быть рыцарски прямой и не может включать в себя звено измены. И в следующую встречу с Хатисовым, для надёжности призвав свидетелем генерала Янушкевича, начальника штаба, великий князь решительно отказался.

Отказался, – но уже через неделю понял, что всё равно теперь замешан в этом заговоре: поелику не довёл о нём Государю тотчас! И это сознание замешанности всё более заножалось в него – безпокойством, стеснением, смущением, – но каждый ещё протекший день или неделя всё глуше запирали возможность очиститься. Вот как великий князь – отказавшись, удержась в чести, – стал грозимым заговорщиком!

Но и та же честь не давала ему прорвать кольцо и выдать расположенных к нему людей, того же князя Львова. А Хатисова он всячески избегал с тех пор.

Вдруг на свидании в Батуме Колчак показал великому князю телеграмму о волнениях в Петрограде и даже – что столица в руках мятежников. Великий князь ринулся в Тифлис. Тут тоже от одного доверенного лица к другому передавали тайно, что одна грузинская газета полу-

чила из Петрограда условную телеграмму, означающую начало крупных событий! Ко 2 марта стали напирать и агентские известия о потрясающих революционных событиях. Разумеется, великий князь не дозволял их публиковать, но предполагал собрать для осведомления дворян Тифлисской и Кутаисской губерний. И сам он трепетно запредчувствовал, что пришёл *его* час. Те силы, которые восстали в Петрограде, были его сочувственники и союзники.

Напор известий в плотину военной цензуры рос по часам. Ещё ничего не было напечатано открыто, но все уже по сути знали. Особенно волновались издатели и редакторы газет. 2 марта Николай Николаевич счёл уместным пригласить их в один из просторных залов наместнического дворца, выйти к ним при оружии и заявить, что он и всегда придавал большое значение печати и надеется, что печать своим правдивым словом будет содействовать спокойствию. Наместник верит, что нынешние события завершатся ко благу нашего Отечества. Вот, с часу на час, придут указания Ставки, как быть с публикацией.

И действительно, во второй половине дня такое разрешение от Ставки пришло, – но ещё ранее полудня от Алексеева получено было приглашение, совсем ознобившее, радостно олихорадившее великого князя: что *династический вопрос поставлен ребром*, – так считает и председатель Государственной Думы, и так же в Ставке, и обстановка очевидно не допускает иного решения, как отречение в пользу сына, и для спасения России Алексеев просит весьма спешно телеграфировать Его Величеству во Псков.

И по спирали этого *ребра* Николай Николаевич ощутил, что он как бы возносится в свой великий, если не величайший момент. Кто же другой из Главнокомандующих был так авторитетен и так высок положением, – и единственный августейший! – чтобы подать заблудшему Ники решающий энергичный совет. Да ведь Ники любит Россию! – так, соединяясь с ним в любви к России, – советовать? – просить? – нет, *молить*! – отречься!!!

Перезрел плод. Ему не держаться. Слишком много наделал Ники ошибок, а больше всего – *она*.

(А одновременно: вот уже великий князь – и ни пятнышком не заговорщик! Он – верноподданный, но разумный.)

И – неотвратимо это возвращало Николаю Николаевичу Верховное Главнокомандование! – никто другой назначен быть не мог.

Николай Николаевич не задержал ответа, хотя Ставка добивалась ещё нервней и быстрей, – он только выбирал самые высокие и святые выражения, чтобы заведомо потрясти душу Ники. И милый, верный Янушкевич был тут же рядом, у телеграммы, и помогал.

Но и в эти же самые часы не мог взволнованный, благодарный великий князь отказать себе в радости дать из тифлисского уединения союзный отзыв этим дружеским столичным силам: тут же рядом, на соседнем столе, с участием Станы, радостно-прыгающим карандашом составлялась и телеграмма, не обязательная по службе, но обязательная по влечению сердца, – телеграмма Родзянке: подтвердить, что – да, Наместник уже обратился к царю с верноподданнической мольбой: ради спасения России – как бы это целомудренней выразиться в открытой телеграмме, нельзя же писать «отречение», когда его ещё нет? но: «принять решение, признаваемое вами, – то есть Михаилом Владимировичем Родзянко, – единственным выходом при создавшихся роковых условиях».

И вдруг, необычайно скоро! – пришла телеграмма от председателя Думы. Но, увы, это оказалась не ответная, а укорная. Кто-то, очевидно, пожаловался из Тифлиса на перехват сообщений, и председатель Думы величественно подтверждал, что власть *окончательно* перешла в руки Временного Комитета Государственной Думы, и председатель надеется, что Его Императорское Высочество окажет полное содействие – и немедленно облегчит условия цензуры.

Мог бы возникнуть мучительный конфликт долга и совести, но, к счастью, Ставка тоже уже разрешила.

Зато – совсем она замолчала, каков же ход отречения? Час за часом, сперва восхищённо, потом уже тревожно, пружинно-напряжённо, Николай Николаевич в кругу близких ожидал, как разрешится там, во Пскове, когда уже придёт рассвобождающий ответ. Иногда, совсем уже теряя терпение, велел Янушкевичу посылать запрос Алексееву, узнавать.

Ставка обещала. И опять тянулось. И опять запрашивали от имени августейшего Главнокомандующего. И к полуночи снова обещала Ставка.

Что-то не ладилось во Пскове. Какой-то неблагоприятный изгиб.

Становилось мрачно. Просидели весь вечер в напряжении. Во втором часу ночи Стана ушла спать. Ушёл и Янушкевич. Казалось – всё отложено на завтра.

Но Николай Николаевич чувствовал, что – нет, не так, не так! – и у себя в кабинете недреманно сидел в мундире.

И в три часа ночи прибежал дежурный офицер из аппаратной – и подал бодрствующему Наместнику *всепреданнейшую* телеграмму от генерала Алексеева, и в ней – гора новостей.

Что указом Его Величества – Его Императорское Высочество назначен Верховным Главнокомандующим!

Свершилось! Долгожданный час, в награду за верность и службу.

А князь Львов – глава правительства. Так.

А Государь изволил подписать акт отречения! – но с передачей престола великому князю Михаилу Александровичу.

А-нек-дот. Дурной анекдот.

Ну кто такой Михаил? Ничтожный, неспособный. А здесь, в кавказском изгнании, возвышается самый видный и славный из внуков Николая I.

Дёготь, добавленный в мёд. Всё испортили…

Однако в этот раз его мнения не запрашивали… Лишь почтительно спрашивал Алексеев: когда можно ожидать прибытия Его Императорского Высочества в Ставку? Благоугодно ли будет Его Императорскому Высочеству предоставить Алексееву временно права Верховного? И будет ли кому передан Кавказский фронт или останется один Юденич?

Уже потеряв всякое желание сна, никого не будя и не зовя, расхаживая по парадному дворцовому кабинету в борении противоречивых чувств, Николай Николаевич осиливал жестокую рану последнего известия и возвращался к долгу и достоинству Верховного Главнокомандующего. (Хотя не представлял, как может состоять под Мишей.)

И отвечал Алексееву: до моего приезда – руководить военными операциями и штатно-хозяйственными распоряжениями.

…В чрезвычайных обстоятельствах повелеваю вам обращаться срочно ко мне за повелениями… Думал бы оставаться и Наместником Кавказа, это абсолютно необходимо…

Но это не всё. Ясно, что от нового Верховного при вступлении требуется ободрительный приказ своим войскам.

Приказ № 1.

Это должен быть властный, мощный голос богоизбранного воина, отзывный русскому сердцу и чуждый всякому революционному бреду.

Тотчас же, в ночном просторе, и писать его!

…По неисповедимым путям Господним я назначен Верховным Главнокомандующим. Осенив себя крестным знамением, горячо молю Бога… Только при всесильной помощи Божьей получу силы и разум вести вас к окончательной победе… Чудо-богатыри, сверхдоблестные витязи земли русской! – знаю, как много готовы вы отдать на благо России и престола…

* * *

Безумные тираны попирали честь и достоинство России… Дикие защитники самодержавного ига… Жестокие корыстные полулюди…
РСДРП

* * *

357

Вчера поздно вечером удостоверилось новое правительство, что Гучков настиг царя во Пскове. Так! Попался! Теперь с часу на час можно было ждать и отречения.

То есть опять имело смысл не расходиться спать по домам, а подождать в Таврическом, – это уже четвёртую ночь?! И почему все главные события выпадают на ночь? Отказывали силы, а стоило подождать. И главных несколько – Милюков, Керенский, Некрасов, чёрный Львов, остались дремать в креслах и ждать.

И – Родзянко. Он-то, ожидая отречения, раззарился теперь едва не больше всех.

Все они ждали ещё этой последней законности, утверждающей новое правительство. Ещё эта последняя завершится – и власть окончательно установлена.

Впрочем, Милюков не дремал, он не терял часов этого нового ночного ожидания. Он сидел за столом и под общий разговор терпеливо составлял обращение «Всем, всем, всем», всем людям, всем странам, которое следовало теперь послать по радиотелеграфу, чтоб объяснить положение в России. Кому же позаботиться, как не министру иностранных дел? Это будет не только первым действием ещё бездействующего правительства, но от такой телеграммы всецело зависит, в каком виде мир узнает о нашей революции. А от этого, – Милюков хорошо представлял западное общество, – зависит и прочность симпатий к новому правительству, и все блага помощи.

Ждали. Прямой связи со Псковом Таврический дворец не имел, а имели: Главный штаб – со штабом Северного фронта, и министерство путей сообщения – по своим линиям. Бубликов всё время звонил Родзянке, набивался с помощью и советами. Он первый сообщил им о конце переговоров во Пскове, он же первый донёс жалобу, что Псков запрашивает разрешения царским литерным поездам следовать в Ставку, – и неужели можно их отпускать?

Но показалось правительственным людям, что это даже удобнее: тут, под самым Петроградом, бывший царь сейчас как-то мешал бы. И простая порядочность требовала не отказать в личной просьбе, когда царь отрёкся от короны.

После двух часов ночи пришло, пока кратко, от Гучкова: что Государь отрёкся, но в пользу Михаила Александровича. А сам текст Манифеста шифруется во Пскове и воспоследует.

Настолько это было *почти* то же, что не в секунду осознали: в пользу Михаила Александровича? То есть как? Не регентом, а Михаилу – сам трон?

А как поняли – то сразу и заволновались. Неожиданность была крутая! Как же так Гучков, ведь уговаривались! Одно дело – трон малолетнему Алексею, то есть как бы вообще без царя, а Михаила обставить регентским советом, – и только так может невозвратно укрепиться у нас конституционное правление. А Михаила – полновластным царём? Это совсем не то. Это неприемлемо! Это никак не приемлемо! Строевая армейщина, да, глупый-то глупый, – а ну как уцепится за власть да начнёт жать? Всё же он не малолетний!

Такое отречение может взорвать всё правительство.

Позвольте, а где же князь Львов, главное лицо? Только сейчас поняли, что его нет. Послали искать по комнатам.

А что скажет Совет рабочих депутатов?! Одного царя сменили на другого, – где же поступь Революции? как это оправдать перед массами?!

Тем более что Совет и вообще никакой монархии не хочет.

Керенский (всё более ощущая себя в правительстве концентрированным Советом) вскочил – и объявил с категоричностью и даже отважностью, как бы готовый биться с ними со всеми:

– Совет рабочих депутатов ни в коем случае этого не допустит!

Вот! И правительство не могло с первого шага идти на конфликт с Советом.

Такой поворот с отречением грозил смести их всех.

Но особенно обезкураженным почувствовал себя Милюков. Потому что не повод для гнева он нашёл здесь, как его коллеги, но причину для большой озабоченности. Уж его поносили последние часы за самый монархический принцип. Уже его вынудили отречься – до «личного убеждения». Но *такая* передача трона ещё сильней ухудшала картину? – она как бы и не выглядела уступкой царской власти? При такой комбинации защищать конституционную монархию станет ещё трудней.

Да ведь – с советскими вставили пункт об Учредительном Собрании? И он теперь начнёт давить на монархию?

Рок политического деятеля крупного масштаба. Как 17 октября Пятого года, когда все ликовали Манифесту, Милюков имел мужество непримиримо отклонить его, так теперь он должен иметь мужество против общего потока поддержать монархию в обломках.

А князя Львова нигде во дворце не нашли. Значит, уехал спать. Вызвать его немедленно! Позвонили на квартиру, там перебудили: нет, ночевать не приезжал. Да где же он?

Догадались: а не прячется ли у своего Щепкина? Позвонили туда – нашли. Немедленно, немедленно в Таврический! Хитрец какой, поспать хотел!

Тем временем, уже после трёх часов ночи, из Главного штаба, где расшифровывали Манифест, вырвали по телефону мотивировку: «Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаём наследие Наше брату Нашему».

Хорош гусь! И всегда Милюков безконечно презирал этого царя, но сейчас испытал горькую обиду на него: даже уходя, последним движением, он портил общественному кабинету! Не хочет рисковать своим сыном! – как всегда, прежде всего думает о своей семье! Не хочет рисковать своим сыном! – а что ж он раньше думал? Зачем держал его наследником? Предпочитает рисковать неподготовленным братом. И новым правительством. Да самою Россией, наконец!

И Милюкова же будут теперь больше всего и упрекать…

Хотя и ясно всем – «нет! нет! нет!», но прежде чем сформулировать какое-то решение – должны они быстрей всего остановить Манифест, вот что! Чтоб он никуда не растёкся! Его, конечно, изо Пскова или из Ставки начнут передавать теперь, не спрося правительство. Надо выиграть время для обдуманья! Надо в обоих местах – остановить!

Торопили, гнали отречение, а теперь – остановить!!

Что для этого? Срочно телеграфировать, нет – разговаривать со Псковом и со Ставкой.

Милюков: и даже выяснить возможность обратно изменить Манифест в пользу Алексея!

И – кому ж было всего внушительней, и приличней, и убедительней сделать это всё, если не Родзянке?

Вот, они совсем его отставили, – но наступила новая решительная минута, и снова требовался только он!

А он, великодушный, был готов! Он – простил им, что они его оттеснили!

Готов хоть сейчас.

Именно сейчас! Немедленно!

Но неприлично было бы послать его и никого не послать от правительства. Да вот же и князь Львов, ну вот он наконец!

Ласково жмурился. Не проявил смущения, что прятался.

Ехать переменить? Ну, можно ехать переменить.

А оставшиеся теперь расспаривались дальше, да всё острей.

Узкоголовый подобранный Керенский метался, бросался по маленькой комнате (но не бежал к своим в Совет!) и всё пламенней извергал, что теперь само собой диктуется здоровое решение: полный отказ от всякой монархии! Немедленное отречение и Михаила тоже!

Не останавливать Манифест, нет! – но скорее вырвать отречение и у Михаила, – и сразу возгласить Учредительное Собрание!

И Некрасов невиданно разволновался, раскрылся, мрачно кидал взоры – и сел набрасывать проект отречения Михаила.

И значит – немедленное провозглашение республики!

И чёрный Львов – ходил по диагонали и клокотал со сжатыми кулаками.

И получалось, что только один Милюков оставался *за* монархию?

Но чем крайней метались его собеседники – тем более трезвел Милюков и тем более упирался. Уже тяжелила его и неловкость от вчерашней уступки: зачем же он признал монархию своим личным частным мнением, когда это стоит в программе кадетской партии? Так быстро нельзя отступать, можно расстроить ряды.

И вот сейчас Милюков всё более устаивался: нет-таки! монархия – должна быть! Хоть на время. Должна быть видимость законной передачи власти, без которой мы не можем действовать дальше. Михаил – так Михаил, пусть будет Михаил. Пока.

Республика? Нет, мы не готовы. Мы не можем перепрыгнуть.

Говорили всё нервней. Ссорились.

А ночь текла…

А Родзянко и Львов не возвращались.

И в пятом часу стало проясняться им такое действие: теперь неизбежно им всем с утра ехать к Михаилу. И заявить ему – что же заявить?

Мнение большинства!

Нет, обе спорящих точки зрения! Если Павлу Николаевичу не дадут возможности изложить перед великим князем свою точку зрения – он вообще покидает правительство!

А уж спорить Милюков умел – не перед толпой простолюдинов-солдат, конечно, – с упорством изумительным. Теперь он мог не спать, не есть, всех их тут уложить в лоск, – но доказать, что приемлема только монархия, а не республика.

Решили: отправляться к Михаилу коллективно и представить обе точки зрения.

Милюков же рассердился в споре, набрал напору и настаивал больше: какое б решение ни состоялось – *другая сторона* должна оставить правительство!

То есть он предлагал: при республике – сегодня же уйти из правительства, которое он вчера с такой гордостью и любовью объявил.

Но при монархии – он останется единственным пока министром?.. (Он уверен был быстро найти других.)

До такой остроты дошло.

Керенский с Некрасовым перемигивались, уверенные в победе.

А вот что, придумал Керенский: уже шестой час, нечего Михаилу слишком долго спать, да ещё уедет куда? Сейчас же ему по телефону назначить наш приезд! (А Родзянко уже им рассказал, где Михаил прячется, на какой квартире.)

Но такой час назначить, чтобы нам же поспать.

Разумеется. Да и дождаться Гучкова.

Керенский рванулся звонить – непременно он, только он сам!

– Алексан Фёдыч! Только не объясняйте ему, в чём дело. Не подготовьте!

Великого князя пока будили, пока подошёл. И услышав его совсем вялый, сонный голос, Керенский, как ни устал, а весело, задорно спросил, проверить:

– Ваше Императорское Высочество? Знаете ли вы, что произошло вчера вечером во Пскове? Нет? Ну, мы к вам приедем расскажем, если позволите.

А часа – не назвал.

358

В Главном Штабе вышла ошибка, дежурный офицер не предупредил швейцара открыть. Пришлось барабанить в случайные окна первого этажа, разбудили дворника, а тот уже – швейцара, а тот уже открыл.

Затем поднимались, долгими коридорами шли к прямому проводу. Третью ночь подряд.

Затем что-то не ладилось соединение со Псковом, потом не отвечал штаб, Родзянко кричал:

– Скажите, что вызывает Председатель Государственной Думы! Я их всех под арест посажу!

Всё это время князь Львов больше молчал, да и Родзянко ушёл в кипение своих мыслей, большой охоты разговаривать у него и не было: главный человек был – он, разговаривать и решать – предстояло ему, а что Львов?

После этих страшных дней, всей головоломной запутанности, после двух атак с угрозами убить, конечно именно его первого, – наконец хотело сердце покоя и голова ясности. Нельзя жить под постоянной смертной угрозой, и нельзя жить в такой неразберихе. А сейчас Совет не признает Михаила царём – и что же вспыхнет? Гражданская война!

Всё более уверялся Родзянко, что положение может быть спасено, увы, только отречением Михаила.

А потом, значит, Учредительным Собранием.

До Учредительного Собрания во главе России остаётся Родзянко, это уже так и есть. Или его Комитет станет как бы регентским советом.

А Учредительное Собрание? Вот тут-то и заковыка. Вполне возможно, скорее всего: наш православный народ не захочет жить ни при какой республике. И значит, наступит избрание нового царя, новой династии – в Учредительном Собрании, или всенародно.

И чья же первая кандидатура придёт всем на ум? Да – конечно реального нынешнего главы государства, всеми любимого Председателя всеми любимой Государственной Думы!

Задыхательно это представлялось: открыть собою третью русскую династию? Да не было в России политического деятеля, более для того подходящего, более видного, более могучего.

Что ж теперь поделать, если обстоятельства так сложились против Николая Второго?

И против Михаила.

Родзянко начал со Пскова – как-то уже по привычке, как и прошлую ночь. Да с Рузским вчера так хорошо получилось. Да рассчитывая, что Манифест ещё мог оттуда не утечь в Ставку.

Вот на том конце подошёл начальник штаба Данилов. Родзянко потребовал самого Рузского.

Наконец, не сразу, – Рузский. Было уже недолго до шести утра.

Теперь Родзянко говорил (стоя), телеграфист печатал, и лента уходила:

– Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. Чрезвычайно важно, чтобы Манифест об отречении и передаче власти великому князю Михаилу Александровичу не был бы опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об этом. Дело в том, что с великим трудом удалось удержать революционное движение в более или менее приличных рамках. Но положение ещё не пришло в себя, и весьма возможна гражданская война! С регентством великого князя и воцарением наследника может быть и помирились бы, – но воцарение его как императора – абсолютно неприемлемо! Прошу вас принять все зависящие от вас меры, чтобы достигнуть отсрочки.

Всё главное сказал. Телеграфист понял так, что теперь будет говорить другой высокий посетитель, и отстучал:

– Родзянко отошёл. У аппарата стоит князь Львов.

Но, во-первых, Родзянко не отошёл. Во-вторых, Львов, хотя и усилился лбом – но ничего не сказал, ибо не знал, что бы тут ещё сказать.

Наступила пауза. И за это время потекла лента от Рузского:

– Хорошо, распоряжение будет сделано. Но насколько удастся приостановить распространение – сказать не берусь, ввиду того что прошло слишком много времени. Очень сожалею, – представлялось, как морщилось его и всегда недовольное лицо, – что депутаты, присланные вчера, не были в достаточной степени освоены с той ролью и вообще – для чего они приехали. В данную минуту прошу вас вполне ясно осветить мне теперь же всё дело – что произошло и могущие быть последствия.

Что произошло – Рузский всё равно не поймёт, ведь он не был в здешнем бедламе. А *могущие быть последствия,* что нужно время для отречения Михаила, – об этом, Родзянко почувствовал, говорить на фронты не следует.

И он, отводя Львова, снова завладел аппаратом:

– Опять дело в том, что депутатов винить нельзя. Для всех нас неожиданно вспыхнул такой солдатский бунт, которому подобных я не видел. И которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: земли и воли! долой династию! долой Романовых! долой офицеров!

Голова его гудела, как растревоженный колокол, и в этом гуле смешивалось, что он слышал в Екатерининском зале, и какие там развешаны были партийные лозунги, не посмей снять, и неотступно перед глазами изодранный штыками портрет императора в думском зале, – и слышанное в жалобах от прибегающих частных лиц, и мнения членов правительства, а в глазах рябили, рябили всё подходящие новые солдатские строи и безчисленные красные флаги и бесконечное выдувание оркестров.

– …И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея, – не стеснялся он привирать, для внушительности. – В результате долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось только к ночи сегодня прийти к некоторому соглашению – чтобы через некоторое время было созвано Учредительное Собрание, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, – и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало-помалу в течении ночи приводятся в порядок.

Кажется так: эта ночь уже кончается, и без погромов. Но дальше – страшно подумать:

– Провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольёт масла в огонь – и начнётся безпощадное истребление всего, что можно истребить. Мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому. Желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать Верховный Совет – и ныне действующее с нами Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, несомненно произойдёт подъём патриотического чувства, всё заработает в усиленном темпе, и решительная победа будет обезпечена.

С другого конца помедлили, и притекло:

– Распоряжения все сделал. Но крайне трудно ручаться, что удастся не допустить распространение. Имелось в виду именно этой мерой дать возможность армии перейти к спокойному состоянию. Императорский поезд ушёл в Ставку, центр дальнейших переговоров должен быть перенесен туда. Прошу установить аппараты Юза там, где заседает новое правительство, – и два раза в день сообщать мне о ходе дел.

Ну вот и хорошо. Но Родзянко предвидел и дальше:

– Аппарат Юза будет поставлен. Но прошу вас в случае прорыва сведений о Манифесте в публику и в армию, по крайней мере, не торопиться с приведением войск к присяге!

Но Рузский, оказывается, был ещё куда более предусмотрительным:

– О воздержании от приведения к присяге во Пскове я сделал распоряжение ещё вчера.

Вот это изумительно! Он и без Петрограда догадался, что надо подождать?

– …немедленно сообщу о том же в армии моего фронта и в Ставку. У аппарата был, кажется, князь Львов? Желает ли он со мной говорить?

Да что же Львову говорить! Родзянко, всё место занимая, легонько его отстранил. Комитет Государственной Думы и выше правительства:

– Нет, всё сказано! Князь Львов ничего добавить не может. Оба мы твёрдо надеемся на Божью помощь, на величие и мощь России, на доблесть и стойкость армии и, невзирая ни на какие препятствия, на победоносный конец войны!

Родзянко много раз замечал – и в думских речах, и в разговорах, – что от потока бодрых слов и сам становишься бодрей. Как-то повеселело. Хоть на Северном задержим!

Уж он хотел заказывать провод на Ставку – как аппарат опять застучал:

– Михаил Владимирович! Скажите для верности, так ли я вас понял. Значит, пока всё остаётся по-старому, как бы Манифеста не было. А равно и о поручении князю Львову сформировать министерство? Что касается назначения великого князя Николая Николаевича отдельным указом Государя императора, то об этом желал бы также знать ваше мнение. Об этих указах сообщено было этой ночью очень широко – даже в Москву и конечно на Кавказ.

Быстропонятлив был Рузский, но даже и слишком. К *такой* отмене и сам Родзянко не был готов, да и Львов сидел тут же вот рядом. А Николай Николаевич никому не мешал.

– Сегодня нами сформировано правительство с князем Львовым во главе. Всё остаётся в таком виде: Верховный Совет, ответственное министерство и законодательные палаты – до Учредительного Собрания. Против указа о назначении Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим ничего не возражаем. До свиданья.

Но опять уцепился Рузский:

– Скажите, кто во главе Верховного Совета?

Собственные слова вернулись на ленте – и упало очарование:

– Я ошибся: не Верховный Совет, а Временный Комитет Государственной Думы под моим председательством.

Но всё равно ж он остаётся Верховным, кто же выше него?!

И стал ждать провода на Ставку.

К Алексееву не было такого хорошего расположения – разговаривать напрямую. Остался осадок от его недоверия позапрошлой ночи.

Между тем с другого аппарата подали Родзянке телеграмму от Эверта.

Вверенному Западному фронту он Манифест объявил – и вознеся молитвы Всевышнему о здравии Государя императора Михаила Александровича… приветствуя в вашем лице Государственную Думу и новый государственный строй… в твёрдом уповании, что с Божьей помощью…

Эх, научи дурака Богу молиться – он и лоб расшибёт. Ну куда спешил?..

359

После данного вчера Государю императору совета отречься от престола генерал Эверт не находил себе места. Попала его большая голова в работу непривычную, сам он – в переделку невиданную, не военную, – за все 60 лет жизни, за 40 лет службы ничто подобное не выламывало его крупных костей.

Как же мог он такой совет Государю осмелиться выразить, откуда у него дерзость такая взялась? Сам себя не узнавал и ужасался: короткий момент, торопили, впопыхах, – да ведь все Главнокомандующие единомысленно выразились так!

Понадеялся на здравый смысл. Показалось, что доводы Ставки весят.

А надо было задержаться, дать времени потечь, спросить командующих армиями, хоть как-то разделить это непосильное бремя: решать судьбу российской короны! Ведь это – не эпизод, не тактический приём на несколько месяцев, как лучше выиграть войну. Теперь, вослед, сообразил Эверт: за две династии и за 600 лет никто никогда на Руси от короны не отрекался, – и такой шаг ныне последствия мог иметь тоже вековые.

Эверт стал перечитывать свой совет-ответ глазами Государя – и теперь не мог прочесть его иначе, как измену присяге. Откажись Государь от подобных советов и воротись завтра в Ставку – он будет вполне прав, отчислив генерал-адъютанта Эверта ото всех должностей и сняв с него все звания!

Но совет его – невозвратно уже потёк по проводам, и с той минуты Ставка ничего больше не требовала, не спрашивала. Где-то в тайне и молчаливости совершалось действо – отречение? не отречение?..

Закрылся Эверт в своей спальне – и крупно потягивался, до хруста, – хотелось ему своё большое тело как-то распрямить, к какому-то шагу, – но не мог придумать, и никто не предлагал. И не мог протянуть руки к Государю во Псков, и не мог выразить своё повиновение.

Изо Пскова ничего не доносилось, а вокруг Полоцка бушевала бандитская «депутация» распущенных солдат, обезоруживали железнодорожную охрану. Но такова была политичность момента, что нельзя было схватить их как простых бандитов – а надо было спрашивать разрешения Ставки. И были у Западного фронта подвижные резервы для охраны дорог, но Ставка запретила отправить их в дело, а лишь иметь наготове на случай надобности.

И мучился, мучился Эверт в своём одиночестве, как в заточении, пока во втором часу ночи не принёс ему Квецинский первую весть об отречении.

Ну, так ли, хорошо ли, плохо, – отвалилась глыба!

А потом – и сам Манифест. Читал его с ленты – и какие же слова разымчивые! Крупная упала слеза на подклейку ленты.

И хотя служебно это было облегчение – ступив со всеми Главнокомандующими в лад, оставался он на своём посту, – а на сердце лёг камень: что сам он, своими доброподданными руками подтолкнул Государя с престола.

А в три часа ночи скомандовала Ставка: Манифест безотлагательно рассылать по армиям и частям.

Ну, всё. Свершилось.

Свершилось. Смирился. И спать лёг.

Но – не было сна. Отступило раскаяние – надвинулись заботы: как-то надо определяться при новом правительстве. Кто знает Михаила Александровича, понимает, что это будет Государь совсем слабый. И всю силу и ве́дение очевидно заберёт новое правительство. А Эверт перед этим правительством изо всех Главнокомандующих будет очевидно непопулярен, потому что «реакционер». И Брусилов, и Рузский, и Алексеев – очень для общества

хороши. А Эверт – *реакционер.* Вот как прилепят такую кличку какие-нибудь паршивые газетчики – так и не отмоешься до смерти. Будто бы в саже: «реакционер».

Ох, не клонилась голова спать. Ох, подымалась голова – как-то о себе заявить положительно. Такой ценой удержанный пост уж теперь стоил малых усилий – сохранить его. Сочинить, послать какую-то примирительную телеграмму? Очевидно – Родзянке. Родзянко и был бушующий Петроград, другого имени не уважали фронты и страна.

И вот уже зажёг свет, и вот уже сидел сочинял. А перо его – совсем ничего не умело. А это надо было самому составить. Ну, значит, объявил Манифест. Ну, значит, вознёс молитвы о новом Государе. А теперь: вместе со всеми вверенными мне войсками приветствуя вашу Государственную Думу… нет, в вашем лице… И новый государственный строй… И в уповании, что в единении всего народа найдёт родина новые силы к победе, славе и процветанию…

Писал он своими огромными палочными буквами, несколько фраз на трёх полных листах…

Стыдно было с Квецинским советоваться, сам. И через Алексеева отправлять – тоже стыдно, но иного прямого провода нет. Сам отнёс в аппаратную, пусть ночью и проскочит, пока все спят.

Время было к шести утра. Ночь так и не началась – а кончалась.

Всё же прилёг. Но только-только в сон – постучал Квецинский: распорядились из Ставки – спешно задержать объявление переданного Манифеста!!

Что такое? – вскочил Эверт во весь огромный рост.

Так отречение – не состоялось??

Ай-ай-ай, стыд какой! А что он Родзянке послал? Какой стыд!

Да нельзя ли вернуть?! Если целый Манифест останавливали – неужели какую-то маленькую телеграммку нельзя вернуть?..

360

Но и в эту ночь опять недолго поспал генерал Алексеев: в 6 часов утра дежурный офицер уже тронул его за плечо: срочно вызывает к аппарату Родзянко.

И нездоровье ещё не прошло, ломало поясницу, и досада на этого Родзянку, два дня его нельзя было дозваться, а ночью он тут. Не только не умывшись, но и довольно не проснувшись, ещё обалдело-вялый от короткого прерванного сна, Алексеев слипшимися глазами начал читать ленту:

«События далеко не улеглись, всё положение тревожно и неясно».

Что такое? Уже ведь наступало полное успокоение? С этим Родзянкой Алексеев был как с плохим разведчиком. А других разведчиков нет, глаза завязаны.

«Настойчиво прошу вас не пускать в обращение никакого Манифеста до получения от меня соображений, которые одни могут сразу прекратить революцию».

Отшибло сон! – но и желание разговаривать тоже. Что за безумный, суматошный и самоуверенный человек! То – он один знал: дайте ответственное министерство и всё успокоится. Дали. Тогда: поздно! Но опять знал твёрдо, и только он один: дайте отречение, и всё успокоится. Сделали невозможное, переступили через гору, совершили отречение! – опять мало и поздно! – но опять он один знает соображения, которые одни только и прекратят революцию.

То есть как же так теперь? Вынудив у Государя отречение – Манифест держать? Да почему? И кто имеет право?

Ответил Алексеев, что Манифест уже сообщён и Главнокомандующим, и в округа, ибо полная неизвестность вызывала запросы, чего держаться. Армии нужна ясность. Если всё это не соответствует вашим видам – разъясните.

Скрывать Манифест! Теперь скрывать Манифест – ещё хуже будет сотрясение! И уже министру-председателю Львову послан запрос о новой присяге, – и чёрт их поймёт, кто у них там старший – Львов или Родзянко?

Отвечал Родзянко, что обнародование Манифеста может вызвать г р а ж д а н с к у ю в о й н у! Потому что кандидатура Михаила как императора – ни для кого не приемлема!

Вот это так! Да не сутки ли назад этот Самовар и грозил гражданской войной в случае, если *не* будет регента Михаила?! Привык генерал Алексеев мыслить по-военному, а этих политических вихрей он не ухватывал, да ещё больной, безсонной головой. Начинал сердиться.

Хорошо, он даст задерживающие телеграммы. Но опасается, что Манифест всё равно станет известным в армиях.

– Я предпочёл бы быть ориентированным вами ранее, чтобы знать, чего держаться.

Родзянко отвечал длинно и очень сумбурно. Что установлено какое-то с кем-то перемирие. И будет созвано Учредительное Собрание, ещё новость! А до тех пор будет действовать кроме Совета министров ещё какой-то Верховный Комитет – и кроме того ещё обе законодательных палаты. Вот *поэтому*-то он и просит не обнародовать Манифеста. (Какая тут связь?..) Комбинация наследника Алексея и регента Михаила уже внесла значительное успокоение.

Так что ж? – успевал только думать, а не спрашивать Алексеев, – они хотят вернуться к этой комбинации? Переделать Манифест? Убедить Государя? Как будто да. Не прерывалась родзянкинская лента.

…Возмущение и негодование против существовавшего режима ничем нельзя утолить. А решение Учредительного Собрания не исключает возможности возвращения династии к власти. При высказанной же комбинации, напротив, можно гарантировать колоссальный подъём патриотического чувства, небывалый подъём…

Всё меньше понимал Алексеев: какая «высказанная комбинация»? Комбинация Алексей – Михаил, или комбинация Верховный Комитет – кабинет министров – Дума и Государственный Совет? А куда теперь Временный Комитет Думы?

– …подъём энергии, абсолютное спокойствие в стране и блестящую победу над врагом. Войска, состоящие из крестьян, только на этой комбинации и успокоились и решили вернуться к своим начальникам, подчиниться требованиям дисциплины и Временного правительства. *Только сегодня* Петроград, услыша такое решение, несколько начал успокаиваться.

Если чем и были соединены все эти фразы – то непрерывностью узкой длинной ленты. И только. Понять становилось всё трудней: когда же Петроград стал успокаиваться – ещё позавчера или только сегодня? Стал ли Петроград успокаиваться, или положение грозит гражданской войной? Откуда и какие крестьянские войска узнали об отречении в пользу Михаила, если оно ещё не было нигде объявлено? И зачем и кем собиралось Учредительное Собрание, которое могло вернуть к власти династию, а та и не собиралась уходить? И что это за намёкнутое, но скрываемое перемирие в каких-то ещё других неизвестных переговорах с кем-то? С кем? Очевидно, с крайними левыми партиями, больше не с кем.

Будь проклят день и час, позавчера и вчера, когда Алексеев ввязался в эту политику. Она поднималась как муть, как изжога.

А как он мог не ввязаться? Он торчал на своём месте как чурбан.

Брошенный царём.

А во всяком случае хоть теперь надо было игру с этими политиками кончать – и выражать твёрдую армейскую точку зрения.

Хорошо, приму меры задержать Манифест у Главнокомандующих и в округах. Однако всё сообщённое мне вами далеко не радостно. Сокрытие о происходящем и Учредительное Собрание – две опасные игрушки в применении к Действующей армии. Петроградский гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит её с лёгкостью ещё раз. Для родины он теперь вреден, для армии – безполезен, для новой власти – опасен. Желаю скорее получить от вас что-либо окончательно определённое – чтобы Действующая армия могла помнить об одной войне и не прикасаться к болезненному внутреннему состоянию части России.

– Я – солдат, и мои помыслы обращены к стороне врага.

Было чувство: как бы отодвинуться от этой грязи и очиститься от неё.

А Родзянко ещё лепил зачем-то: что страна не виновата, что её терзали неустройствами и постоянно оскорбляли народное самолюбие. Учредительное Собрание состоится не раньше как через полгода, а до тех пор можно будет довести войну до победного конца.

Заговорил – и забыл Алексеев спросить: так как насчёт банды в Полоцке? И кто такие банды посылает? Ставка сделала всё, что Петроград требовал, – почему же разбоя не прекращают?

Распоряжение останавливать отречный Манифест Алексеев отдал ещё во время переговоров, и к концу их – уже на три фронта офицеры распорядились. А теперь подписал и общую телеграмму всем Главнокомандующим – и отдельно своему новому Верховному на Кавказ.

К семи часам утра уже со всем этим справились.

Но и спать ложиться уже как будто было упущено.

А жизнь между тем плелась, подавали ему телеграммы с других аппаратов. Вот – предутренняя телеграмма, проследовавшая от Эверта к Родзянке. Ну вот, а этот уже объявил!.. От Эверта – не ожидал Алексеев такого восторга и такого ненужного угодничества к новой власти.

А вот была – раннеутренняя телеграмма от великого князя с Кавказа, разминувшаяся в пути. Так. Новый Верховный временно поручал Алексееву военные операции и штатно-хозяйственные распоряжения, но – ничего более. И по всем чрезвычайным обстоятельствам повелевал обращаться срочно – к нему, великому князю.

Так. Сразу ограничивалась свобода Алексеева. Да оно и лучше. По-настоящему, значит, мог и с Родзянкой не разговаривать, а пусть бы сносился с великим князем. Но ведь такая чрезвычайность у этих чрезвычайных обстоятельств – как же было не остановить Манифест, а сноситься с Кавказом?

Да вот мгновенно тёк и ответ от великого князя. Раздражённый:

«Мне и в голову не приходило сообщать кому-либо содержание Манифеста, так как он ещё не был опубликован в установленном законом порядке».

И ведь – прав великий князь! Как же это Алексеев сплоховал, да и все умные политики: какое ж могло быть оглашение Манифеста, пока он не распубликован по закону Сенатом?

Ну, по крайней мере, законно значит, что задержали.

Не то что прилечь, не то что пять минут подумать над разговором, – стакан чаю некогда выпить, всё несли свежие телеграммы.

Ах вот она, пришла от Родзянки: никакой депутации на фронт не посылалось.

Так значит, в Полоцке – просто революционная шайка? Эх, зря их не схватили, боялись испортить отношения с Думой.

И тут же две вослед – с Балтийского флота от Непенина. В первой – что пытается задержать Манифест, где ещё можно, но в Ревеле уже расклеен и получил широкую огласку, – однако же и безпорядки прекратились. (Вопреки напугу Родзянки…) А через полчаса во второй – что и в Свеаборге частично объявлен, но не видит в том беды, какая разница в форме Манифеста, просит ориентировать, в чём затруднение?

А Алексеев и сам не понял от Родзянки: в чём же дело? в чём затруднение?

И чего стоила задержка Манифеста, если в Ревеле, Свеаборге и на Западном фронте уже прорвалось?

Документы – 12

Ставка, генерал-адъютанту Алексееву
Вырица, 3 марта, 9 ч. 25 м.

От Родзянко получил телеграмму о возвращении в Могилёв. Прошу подтвердить, куда направить Георгиевский батальон.
Ген. – адъютант Иванов

361

Вид с наблюдательного – привычней, освоенней, чем даже из собственного окна. Отличён уже глазом, врезан в память каждый безымянный бугор и каждая яма. Старые совсем белы, набиты снегом, а новые воронки от снарядов – с чёрным набрызгом, потом и их засыпает белым. Из какой-нибудь ямы торчит, глазом не различишь, – кочерга, сук кривой или рука бывшего человека, но в стереотрубу это уже всё известно точно. Впереди, недалеко, на столбиках, на кривых кольях, а где на козлах, тянутся наши ржавые проволочные заграждения. Ещё вокруг кольев – оплёты, ежи, рогатки. Через сотню потом саженей – такие же немецкие. На чужой проволоке от кого-то бегшего оторвалась, зацепилась и теперь по каждому ветру мотается тряпка. А потом – полоса немецкой огневой линии, где от пристальности твоей зависит знать все бойницы и пулемётные гнёзда. И потом – голубоватые дымки из окопных печурок, по которым стрелять взаимно не принято.

Передвижений, изменений так нет давно – только ходом погоды затемняется или осветляется весь этот болезненный пейзаж, да дневным круговоротом солнца. Да редко улепит снаряд, откроет новую воронку. Да редкая пуля врежется близко в снег, – снег зашипит, и пойдёт короткий парок.

Последние недели – совсем вялая стрельба, ни одной атаки, ни одной операции, а только обновление реперов, да по воздушным колбасам, да если где немцы слишком открыто зашевелятся. И суточное дежурство на наблюдательном иногда проходит без единого выстрела.

Так и за минувшую ночь Костю Гулая ни разу не потревожили, в охолодавшем блиндаже на приподнятой лежанке он проспал на соломе в сапогах, в шинели, в папахе, туго перепоясанный, и вставал только раз по надобности, да чтобы глаз не расслепить – и не заглянул в трубу, в темень ночную.

И утром ещё спал порядочно, но разбудил его Ванька Евграфов, дежурный телефонист. Он парень был безпокойный, забористый, и без офицера тоже угоживал поглазеть в стёкла, что там у немца. И теперь потрагивал подпоручика за ногу – и осторожно, и нетерпеливо:

– Ваш благородь… ваш благородь…

В голосе его не было тревоги, и Гулай недовольно дремуче проурчал:

– Ну?

– Ваш благородь, поглядите, чего немцы выставили, а?

– Чего выставили?

Выставить могли орудие или какую новую машину, может, стрелять надо.

Через смотровую щель уже довольно было света в блиндаже, увидел Гулай зубастую улыбку Евграфова, такая всегда была у него от любопытства, любил он зубы перемывать.

– Такое выставили – сказать нельзя. Идите сами смотрите!

Поднял Гулай тело, намятое от твердоватой лёжки, выругался на никого и пошёл к щели – вызорку́, как называли солдаты.

Ясный начинался день. Полоса голубого неба, кусок облака, боковой солнечный рассеянный свет, – и от позавчерашнего обильного снега ещё белой пухлостью всё завалено – кресты католического кладбища и роща с Ручкой.

Подпоручик приклонился к окулярам стереотрубы, а Евграфов рядом навалился к щели.

Прямо напротив, по линии 2-го ориентира, на выносе из немецких окопов, вплотную к их проволоке выставлен был фанерный щит, аршина два на полтора, на палке, воткнутой в снег, а на щите – бумага, а на бумаге выписано сажей, крупными буквами, по-русски, нерассчитанными строчками, то растянуто, то сжато:

П е т е р б у р г – р е в о л у ш н!
Рус – капут.

К о н ч а й в о е в а т!

Ничего себе. Что это?

Гулай смотрел и смотрел, сколько надо было десять раз прочесть, солнце удобно светило из-за спины, – уже не на самые эти слова, но вокруг, направо, налево, какие у немцев ещё выдвижения, изменения. Никаких нигде, и никто не высовывается.

– Чего это? – искрилось любопытство Евграфова.

– Пошутили. О таком – мы узнали бы раньше их.

Революция? На ровном месте? Пошутили.

Однако велел Евграфову по пехотному телефону позвонить на командный пункт боевого участка. Тот проворно вызвал через зуммер, попросил офицера – и вот уже слышал Гулай в трубку густо-мохнатый голос штабс-капитана Офросимова. Да у Кости и у самого нахрип, нарос такой грубый фронтовой голос, что прежнего студентика не услышишь.

– Капитан, вы – видели?

– Видели, – лохмато.

Офросимов и сам был такой, звали его офицеры – «мохнатый мужик», у него вся грудь была в чёрных клубящихся волосах.

– А на других местах чего не видели? Это – одно такое?

– Одно. Сбей-ка его, Гулай, к ядреней матери!

– А… – замялся Гулай, – чего не слышали?

– Да ты что, обрундел?! Сбей сейчас же.

Офросимов был – одна решительность, и чем больше на фронте – тем больше Гулай таких уважал. Он и сам так понимал теперь жизнь.

Позвонил старшему офицеру батареи капитану Клементьеву. Тот – не сразу подошёл, или встал недавно, или чай пил как раз.

Выслушал – и хладнокровно:

– У них – какое там число? Ещё не первое апреля?

По его покойному голосу, во всяком случае, – ничего такого случиться не могло.

– Пехота просит, я может собью? – сказал Гулай.

– Ну, сбейте. – Старший офицер любил артиллерийские задачи: – А попробуйте вот с одного снаряда, а?

– Попробую, – засмеялся Гулай.

Посчитал деленьями трубы от репера, потом на бумажке – доворот, поправку по дальности, интересно бы сбить с одного.

Евграфов вызвал батарею.

– Первое орудие к бою, – прогудел ему Гулай, а тот повторял.

Когда там приготовились, –

– Угломер… прицел… уровень… гранатой… один снаряд.

Доложили с батареи готовность.

– Огонь! – и к стереотрубе.

И любопытный Евграфов, откричнув «огонь», покинул телефон и подскочил к щели.

Вот он, на подсвисте. Засвистел-завизжал недалеко над головой, взмёл фонтан снегоземли саженей на несколько левей щита – крякнул!

Рассеялось – а щита нет, смело́.

– Поблагодарить, – кивнул Гулай на телефон.

Евграфов с удовольствием зазубоскалил.

Тут вошёл из траншеи свой батареец, принёс им охолодавший завтрак в двух котелках.

Тот пока сел к телефонам – а Евграфов вскочил к печушке, разжечь, да разогреть чайник. Да в отростке траншеи, с неутоптанным снегом, – подпоручику слить умыться, щёки и нос.

Стали завтракать, Евграфов – на соломе, Гулай – на чурбаке, котелок – на низком столике. Иван что-то набалтывал – о том о сём, окопные новости, Гулай его не слушал.

Он подумал: а что, если бы вот правда? Ведь попадают же чьи-то жизни и на такие события?

Сейчас, на фронте, Костя уже столько пережил и постарел, – а раньше бы, по-молодому: всякое необычное, даже опасное, даже неприятное событие манит, чтоб оно случилось! Даже хочется безстрашным телом – коснуться опасности. (И в ней уцелеть, конечно.)

Революция! – это такое кружение, пламень, фантастика!? Впрочем, вряд ли переживания сильней, чем под хорошим обстрелом.

Пили чаёк, кусая сахар вприкуску.

Уж небось Евграфов про этот плакат ещё раньше поведал на батарею. А сейчас охотливо нёс про скопинских фабричных девок. (Он сам был – купецким приказчиком из Скопина.)

Гулай повозился немного с записями, с наблюдениями. Дел-то настоящих не было, целый день хоть спи, хоть книжку читай.

Прозуммерили – и Евграфов потянул ему трубку:

– Из штаба бригады.

Голос в трубке был тонкий, изнеженный, можно за женский принять. А-а, это звонил, это был в штабе такой князёк, капитан Волконский. Он спрашивал – и выдавал волнение, – тот ли самый подпоручик с ним говорит, который видел немецкий плакат? И не про то, как лихо сбили одним снарядом, а: как дословно там было написано?

Этого князька – тонколицего, тонкогубого, с игральными пальцами, видел Гулай раза два-три, – и от этой самоуверенности дворянской породы передёргивало его. Всегда закипало в нём от голубой крови, от белой кости, бесило, что кто-то считает себя от природы рождённым выше и избранней. Даже если такой держался просто, а всё равно улавливал Гулай, как он себя строит, надменно знает о своём изродном превосходстве. А у капитана Волконского был распевчато-недоверчивый тон, скользящие пустоватые фразы – что не в этом обществе ему посерьёзному разговаривать, есть у него свои понимающие в другом месте.

А вот теперь – заволновался!

И невольно отвечал ему Гулай грубей и весомей, чем сам понял утреннее происшествие. В общем-то, он понял его как шутку – а князю Волконскому почему-то передал сейчас не как шутку.

И слышал, как голос у того – падает. Он, может быть, что-нибудь знал уже и с нашей стороны?

Но не унизился Гулай у него расспрашивать.

Положил трубку, отошёл, – а почувствовал, что в самом подымается что-то.

И правда что-то?.. Вроде революции?

А что ж, у нас подгнило. Сотрясётся – очистится, только лучше.

А-а-а, прожигатели жизни, схватились? А полтораста-двести лет что вы думали? Как вы рабов имели безпечно – и не почесались? Всё – тонкие искусства развивали? Да хохотали в своих гостиных? Да на балы съезжались к сверкающим особнякам – карета такого-то! Красотки выпархивали, придерживая сборчатые шёлковые подолы, а чужих никого к себе во дворцы не допускали, да только слуги всё видели. Чем же вы так были избранны? Почему возвышены от общей страды – да на Лазурные берега? Все эти Волконские, Оболенские, Шуваловы, Долгорукие, драть вашу вперегрёб, – хорошо вы забавлялись, а что вы России дали? Какая от вас кому была польза? Никогда столько не дали, сколько брали да брали – и думали: не припечёт? Ну, не сегодня, так позже, а погодите: припечёт!

А ещё ж все эти фон Траубенберги, Юнгерсбурги, Каульбарсы, Карлстеды, Зильберкранцы – ещё этих сколько насело, обстало, населило все верхи? – и ещё учить выговаривать солдат на словесности? Как – от этих воротник освободить?

Разыгралось в груди веселоватое – и даже жалко становилось Гулаю, что всё это – только неуклюжая шутка немецкой пехоты.

362

Весь день, весь ход дневной определяется тем, как ты проснёшься: затекла голова или нет. И разные формы затечи: так и останется сжатием на весь день, или ощущаешь, что разойдётся. Немощь, о которой не хочется никому рассказывать: она касается тебя одного, и только тебе совершить весь её ломкий ход.

С годами совсем преобразилось влияние сна: из крепкого радостного отсутствия, где безпамятно почти смыкаются начало с концом, сон вытянулся в длинную тяжёлую работу, со стонами в переворачиваниях, то сверленьем в суставах, снами, снами, полусумраком сознания, мучительными виденьями, – и замёрлое утро всегда ниже разогнанного вечера. Вечером кажешься себе деятельным человеком и даже доволен прошедшим днём, – к утру это всё опрокинуто, осунулось далеко вниз, и, распластанный, ты пробуждаешься в ничтожестве, почти не веря, что силы снова могут вот воротиться – и снова разгонится полезный день.

И по пятиминутьям чуть выше – чуть выше – чуть выше подсовываясь на подушках, наконец уже полусидя, Варсонофьев тревожно учуивал, какой порядок сегодня устанавливается там, в голове: останется ли она заложенной, с необшаренными уголками мозга, которые к думанью привлечь нельзя, и мысли не будут дозревать, – или постепенно растянет, расчистится, как расчищается небо (ещё помочь и кофием), – и снова он ощутит и погонит былую силу мысли и пера.

А иногда малодушно-расслабленно казалось: совсем безсмысленно вставать. И чтоб имело смысл подняться – надо было искать что-нибудь поддерживающее приятное: вот, должно прийти сегодня хорошее письмо. Или – ванную колонку сегодня будем топить.

В этот трудный утренний час – малоразлично стекает по поверхности сознание о событиях внешних. В бездейственный, в беззащитный момент пробуждения, пытаясь восстать из праха и всякий раз не зная, восстанет ли, – первой горечью и тяготою человек вынужден принять свою собственную небольшую жизнь, никому не известную, не интересную, которую и сам считаешь ничтожно-неважной по сравнению со своими научными занятиями. Возвращается в безсильную память и протаскивается, и протаскивается.

Лёка. Вот и она, разорившая ему годы, не отпускала и теперь. Всё снилась, снилась, и так выразительно: то в лёгкий ящик туалетного столика накладывала, втискивала несколько больших топоров и пыталась ящик закрыть, а он перекашивался и ломался. То, стоя рядом с детской коляской, шамкающая, старая, требовала, чтоб он подошёл, – а когда он подходил – оказывалось: сама лежала в этой коляске, как-то помещаясь, но и взрослая. И тайна сна охватывала ужасом сердце.

Теперь, если ей суждено умереть раньше, чем Павлу Ивановичу, то *оттуда* она станет приходить к нему ещё настойчивей.

А – дочь? Как упустил? зачем не направил? Сколько было удач со студентами – с чужими детьми, – а свою?.. Как мог не уберечь её от этого безбожного сознания, от этой ничтожной среды?

Да разве и сам он через то не прошёл?..

Да вообще – кажется, так мало было внешних, фактических событий, – а давят пещеры памяти. Чем старше Павел Иванович заживал, тем отчётливей вспоминал свои ранние годы, – и открывались ему и начинали жечь совсем забытые, никогда не понятые вины, начиная с матери, с отца, – перед теми, кого давно нет в живых или рассеяны, и не найти их, чтобы просить прощения и загладить.

Почему и вся жизнь человека, если рассмотреться, составляется почти из одних ошибок? Почему вовремя никак нам не дано принимать верные и светлые решения, – но лишь запет-

ливать, запетливать свою жизнь, – и только стариковским ослабленным взглядом различать упущенное? Всякий новый раз мы уверены в правоте – и всякий раз ошибаемся.

Самое удивительное, что ничего этого он искренно не видел вовремя. Самые простые ходы упоительной молодости и слепóты средних лет, так отчётливые теперь, – почему он их не различал раньше?

Шестьдесят один год! Это – много. Это – очень длинная жизнь.

Он по-прежнему любил свои занятия, а как будто уже и не по-прежнему: уже не доставляли они сами по себе столько завлекательной радости, и, чтобы подкрепить себя, должен был Варсонофьев думать не только о сути их, а о том, какой ответ и отвод он даст противникам. На противниках – более укреплялась земная твёрдость. Успеть отвести их. Успеть исправить ложные движения. Успеть передать молодым свой духовный опыт. Всё накопленное, а не переданное – так ведь и погибнет с нами безплодно.

Так мало сил и времени дано человеку, чтоб еле-еле управиться со своим собственным сердцем, со своим собственным обдуманьем, – а кому-то же и когда-то надо успевать подвигать и жизнь общественную?

Совсем недавно Павел Иванович узнал о смерти двух своих ровесников – безо всяких видимых причин. Значит – только возраст? Как это сильно влияет: твои ровесники уже расстаются с этим миром. Дорога кончается. Дорога для всех неизбежна.

А от какого-то времени, оглянуться, уже и много близких, понятных тебе людей, многосвязанных с тобою, перешли в *тот* мир. И ты чувствуешь себя здесь всё более одиноким и как бы ни при чём: мало ты понимаешь новопришедших – и они тебя.

Шестьдесят лет – это уже и полная жизнь, вполне может на том и захлопнуться. Но зачем-то вот дан ему избыток сверх того, избыток по сравнению с умершими. Милостивый дар, в дополнение. Одуматься. И ещё исправиться, где можно. Старые ошибки свои исправить, если не потеряны их концы.

Но они обычно обронены и потеряны. А как хочется бы ещё обновиться и приблизиться к правильной линии!

И почти знаешь заранее, что это невозможно.

Даже не только утра, а целые дни можно вот так провести – дни просторного раздумья неизвестно о чём, ещё даже не найдено с утра, а просто хочется перебирать свою минулую жизнь, и другое, в связи. Какое-то чувство, что это – плодотворно, и будет найдено нечто. Только не торопиться и даже не задаваться ничем.

Так он сидел, подпёртый высокими подушками, ноги вытянув под одеялом, – хотя внизу, в почтовом ящике, ждали его газеты с чехардой ещё каких-нибудь невероятных новостей.

Вот пришлось! Сотрясены Петербург и Москва. Что-то должно из этого вытрястись, вряд ли теперь успокоится гладко. Родзянко телеграфировал в Москву Мрозовскому, что правительства больше не существует. Мрозовский спешил выгородиться: «Я – старый солдат, рисковавший головой в нескольких кампаниях», – и по телефону дважды уговаривал Челнокова приехать, принять его капитуляцию, а тот ещё и не ехал! Бежавший московский градоначальник был арестован на вокзале. Где-то неведомо метался, куда-то загнался царь. Уже даже не молодым, всего пятнадцать лет назад, ещё как Варсонофьев ждал такого! Как бы он сейчас кипел, ноги бы не приседали, только носился бы по этому уличному месиву и искал бы, как нахрипеться и куда приложиться. Кажется, ведь только для той, общественной жизни он и вынашивал вершину своего сознания.

Но за десять предстарческих лет – что-то в нём отозрело.

В эти дни он переглядывал перебивчивые газеты, и отдельные листки, возглашающие необыкновенные события. И выслушивал Епифановну: как в трактирах стали еду хватать не платя, растащили припасы из колониальной лавки на Большой Никитской, разграбили булочную на Тишинке, разгромили часовой магазин на углу Большой Грузинской и Тверской.

И про обыски вооружённых солдат по квартирам. И сам от Малого Власьевского прошёл один раз к Пречистенским воротам, другой раз к Арбатской площади, – но и на улицах, в опьянённой толчее, не покинуло его ощущение, что это всё, происходящее внешне, – не главное.

Что главное Павел Иванович мог разглядеть, понять и в своей дряхлой хоромине, не выходя и даже газет не читая, – лишь освободив простор своей мысли и прочитывая резной потолок.

Нужна способность понимать жизнь в самых основных, простых чертах. Может быть, это и есть лучший дар старости.

В государствах, как и в жизни отдельного человека: всё приходит и уходит – хлыном. Было – несметно, и вдруг – ничего. Человек живёт и государство живёт – в видимом здоровьи, и сами не знают, что они – уже при крае.

Да, когда-то он тоже думал, что если б только установить республику, рассвобождённый государственный строй – и – и – что? Что может политическая ежедневная лихорадка переменить к лучшему в истинной жизни людей? Какие такие принципы она может принести, чтобы выйти нам из душевных страданий? из душевного зла? Разве суть нашей жизни – политическая?

Так и его общественная деятельность прежняя – была сплошной ошибкой.

А ошибку нынешней он поймёт когда-нибудь потом?

И как же переделывать мир, если невозможно разобраться в собственной душе?

Тут услышал он: благовест?..

Не звон отдельной церкви. И не размеренный, печальный, великопостный зов к утренней службе, да уже и время было не то. И – не церковь Власия рядом, она молчала. Не – Успения на Могильницах, не – Николы в Плотниках, не левшинского Покрова – их всех Павел Иваныч и при закрытой форточке различал, по звуку и по направлению.

Но – сильный благовест шёл. Но бил – не меньше как Иван Великий.

Необычно. Совсем неурочно. Павел Иванович спустил ноги в мягкие туфли, надел халат со спинки стула. И подошёл, открыл первую форточку, и вторую.

Да, бил Кремль. Во многие колокола. И, как всегда, выделялся среди них Иван.

За шестьдесят лет жизни в Москве и в одной точке – уж Варсонофьев ли не наслушался и звонов, и благовестов? Но этот был – не только неурочный, не объяснимый церковным календарём, – утром в пятницу на третьей неделе Поста, – он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. Много, и безтолково, и шибко, и хлипко было ударов – да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. Это удары были – не звонарей.

То взахлёб. То через меру. То вяло совсем и перемолкая.

Это были удары – как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать.

Стоял Павел Иванович под форточкой – и слушал в изумлении. Как эти звонари прорвались на колокольни в согласное время и что хотели так несогласно выразить – можно было догадаться. Но – как это слышалось исконному москвичу?

Близкие малые церкви так и не вступили ни одна. Но из дальних – какие-то поддержали. А простоял Варсонофьев минут десять – и гунул главный колокол Христа Спасителя. А за ним посыпалась и дробь перезвончатых. И такая же безтолковая.

Стоял, стоял, стоял Павел Иванович. И не только напрохладел, а обняла его великая тоска.

Или даже – разорённость.

Как в насмешку надо всеми его раскаяниями, обдумываниями, взвешиваниями – хохотал охальный революционный звон.

И ещё меньше теперь можно было понять в пути России. И в собственной жизни.

363

Ещё вчера солнце было – её.

А сегодня – нет, ушло.

Ушло всё прекрасное волнение, вся переполненность восторгом. А взамен – тоска, обида заложили всю её.

Нет, нет, Ликоне – не плохо! Ведь у неё были эти невозможнейшие шесть дней. И их никак нельзя отобрать.

И даже боль после него – прекрасна.

Но что произошло с нею самой? Кажется – это была не она.

Она совсем не помнит встречи.

Всё, что хотела объяснить, – она ничего не объяснила: всё её прошлое вдруг стало мелко и ненужно рядом с *ним*. Рядом с ним – она сама не вспомнила своих разочарований, своих страданий.

Растерялась.

Вместо этого – он был рядом и всё заполнял.

Она – ничтожная перед ним девчёнка, и он прав будет, не оценив её, пренебрежа.

Не поняв.

Бросив.

Один раз в жизни уже было так: она всё принесла, а оказалось ничто не нужно.

Нет, она сама виновата! Она – онемела, была не она.

И вышло – просто побаловался?..

А теперь: ещё раз они будут ли вместе, чтоб исправить?

А на улицах – этот толповорот, дикое красное и песни, чему-то все рады.

А тёмные театры – как погребальные залы.

Да – будут ли они ещё раз вместе!?

Милый! Не уезжайте! Милый! Будьте со мной ещё раз один!

Я обниму вас – как никогда-никогда!

364

Боже, какая ночь!.. Двух таких ночей не бывает в человеческой жизни!

Вся ночь – без сна, но какая возвышающая, памятная, разбудоражная ночь счастливого завершения Великой Российской Революции!

Уже к вечеру было понятно, что во Пскове решается нечто, и Непенин послал через Ставку свою телеграмму в поддержку отречения, даже преувеличил, по мнению своих штабных, что он с огромным трудом удерживает флот в повиновении, – бóльшая часть флота держалась спокойно и благородно, – и что вне отречения грозит катастрофа с неисчислимыми последствиями.

Послал телеграмму – и всё кануло в ночную тишину, и всё не верилось, что развяжется благополучно. После двух ночи, перетолковав, перетолковав, расходились спать – и тут пришла телеграмма, что Манифест об отречении подписан царём!!

И так, без ночи, открылся сразу опять день, уже следующий. Команды спали, на тёмных корпусах кораблей горели малые дежурные лампочки, не светились иллюминаторы дредноутов и линкоров, спала и команда «Кречета», кого не разбудили сами телеграфисты, – а князь Черкасский и Ренгартен пошли в каюту к Адриану – поздравлять! Позвали б и Щастного, вполне уже своего, но он вечером уехал в Петроград представителем флота.

У Непенина нашлась бутылка шампанского. Втроём, в каюте, и пили, – не шумя, с голосами переволнованными, но негромкими. За новую Россию! За новую эру! Какая ослепительная заря свободной, просторной, великой русской жизни!

И как сказочно быстро и легко всё решилось – ещё только искали, как приступать, кого-то раскачивать, давать внешние импульсы думцам, – но все повели себя так отлично, но всё прошло так гладко!

Адриан был тоже как никогда прост, никакой разделительной черты, хотя при весёлости их троих – его лицо было как будто озабоченное, в противоречие с настроением. А говорили – очень слитно.

О том, кого и кем заменять. Зубров – убрать, освежить состав. Как теперь всё будет выглядеть! Как звучать! О неисчислимых русских возможностях.

Но, Боже мой, как легко всё получилось!

Тут принесли ленту с приказанием адмиралу от нового правительства: немедленно арестовать финляндского генерал-губернатора Зейна и ещё одного крупного царского чиновника.

Светловолосый Непенин повёл бровями. Полицейское распоряжение, никак ему не по должности, не по службе. Но – есть и такая оборотная сторона, естественная черта революции.

Придётся их – взять. И изолировать от города. На корабль. А потом в Петроград.

Распорядился подать ему автомобиль, сопровождающих и уехал в город на арест.

А Черкасский и Ренгартен ждали его возвращения в канцелярии штаба. Гадали, как пройдёт операция. Ещё, ещё рассуждали обо всём. Просто – горели, не могли усидеть, Ренгартен вскакивал и всё ходил, в тесном просторе, два с половиной шага.

Придумали и камеру для Зейна – пустующую каюту флагманского механика, велели её приготовить, – и тут же вскоре послышались шаги в коридоре, Черкасский пошёл навстречу показать, – Зейн двигался надутым изумлённым чучелом, покорно зашёл, дал себя запереть, – а саблю отдал Непенину ещё у себя во дворце, не шевельнувшись ни к возражению, ни к сопротивлению.

Это – показатель и символ, что так гладко прошло. Так будет и дальше, так – всё!

Непенин сказал, что пригласил сегодня на день финских деятелей сюда на корабль. После ареста Зейна естественно установить с ними дружеский контакт, обещать широкие права финскому сейму.

Оставили Адриана отдыхать, сами пошли ещё выхаживаться по палубе. Ещё не рассвело. Лёгкий мороз, лёгкий вест, всё небо открыто звёздное, давление 764, будет ясное утро.

Да оно уже и скоро, уже безполезно идти спать, а лучше встретить его бодрствуя.

Придумали с князем вот что: вдвоём привести в порядок, систематизировать все телеграммы и документы за эти дни, связанные с революцией, – за сколько дней? Да всего за четыре! А уже много набралось, потом всё это смешается, потеряется.

С интересом занялись, не переставая изумляться этому топоту истории по собственным головам.

Утро разгоралось ярко-солнечное, праздничное, от белых ледовых пространств жмурились глаза.

За эти часы уже пришёл текст царского Манифеста. (Черкасский нашёл, что удивительно благородным языком написан, – кто это царю составил?) И неспавший Непенин собрал флагманов раньше семи утра, – не заседанием, но торжественно построил их в своём салоне – и прочёл им Манифест.

Дружно крикнули «ура» императору Михаилу Второму! Всё это было куда бодрей и светлей вчерашней грозной неопределённости. Кажется, на этот раз не было недовольных лиц. Новый император, Российская Империя продолжается!

Но едва флагманы разошлись, чтоб объявить по кораблям, – телеграф «Кречета» принял из Ставки от Алексеева просьбу Родзянки – всеми мерами и способами задержать объявление Манифеста, сообщённого ночью! – ввиду особых условий, которые будут пояснены дополнительно.

Как громом! Что это значит?

Но он уже разослан! Уже в Ревеле, уже и тут… Наш принцип и есть – всё объявлять матросам как можно скорей и честней!

Что это опять начинается? Что это такое? Революция – повернулась? Царь берёт отреченье назад?.. Измена?

Всё потемнело и при блистающем утре.

Невозможно было расстаться с достигнутым уже! С тем, что сердце уже так трепетно пережило и усвоило.

Невозможно было допустить Полковника снова на трон!

365

Ещё вчерашний предутренний удар от Родзянки генерал Рузский как-то выдержал: что его победа – не победа, а события шагают крупней. И вчера снова собрал все силы интеллекта на новые уламывания царя – и снова же сломал! И к ночи был снова в душевном разгоне, ужиная с Гучковым и Шульгиным и провожая их потом на поезд, а сам на автомобиле в город, в штаб, – он упивался сыгранной ролью и ощущал себя вровень с грандиозным Происходящим.

Но когда сегодня в пять часов утра, едва втянутого в сон, его снова разбудили к аппарату, и опять Родзянко грубыми, нерассчитанными движениями смахивал с доски все расставленные выигравшие фигуры, – Рузского как будто прокололо, стало из него выпускать набранный воздух и смарщивать. И такой сморщенный, съёженный, маленький, он свалился в постель, уже после шести, – и пытался заснуть, но уже не впрок, какой-то кислый сон, без освежения, и вздрагивающий, – даже и сон не шёл к нему, и вот лежал вялый, измолоченный – да сколькими же сутками сверхчеловеческого напряжения? Да неужели меньше чем двумя? Поверить нельзя, кажется – дольше недели.

Вытягивался за событиями – не отстать, даже вести их, – нет, видно, уже стар он для таких растяжек, шестьдесят три года. Очень было гадкое, сляклое состояние, – не поверить, какой подъём царил всего несколько часов назад на ужине с депутатами.

И – каковы ж эти депутаты, чего они стоили, и знаменитый Гучков, – сами не знали, чего добивались. Ни к чему не были подготовлены.

Оставалось, правда, лестно, что телеграфировали первому Рузскому, а не Алексееву. Конечно, рассчитывали найти у него большее понимание. При новом правительстве он мог бы стать и Верховным Главнокомандующим. Что́ Николай Николаевич? Фигура для парада и фотографий. Да вряд ли его утвердят. А Алексеев – виновник 1915 года, разработчик неуклюжей карпатской авантюры, потом предался психозу отступления, – разве он годен в Верховные? Но – само правительство держится как безумное.

Петроградские события как будто не имели связного течения, где последующее событие вытекает из предыдущего, а выскакивали внезапно, как из балагана фокусника, и фокусником был Родзянко, он мог представить в следующий разговор или через пять минут – то невиданный солдатский бунт, то полное успокоение. Скорей всего, они сами не понимали настроения населения и что делается в Петрограде. Но почему же, когда Петроград был в ведении Рузского, – он всегда знал настроение города? И члены Думы, и общественные деятели эти все дни, значит, вели отчаянную, рискованную игру, – а теперь по слабости выпустили всё из рук. Но при такой мгновенной переменчивости петроградской обстановки как же может рядом существовать и стоять Северный фронт?

И Рузский – выговорил Родзянке, сколько успел. Родзянко с той стороны давил даже через аппарат своей мощной фигурой, так и видно было, как он там устороняет кроткого Львова, не давая ему пикнуть. Этим своим вечным самовыдвижением Родзянко не давал узнать: что ж там думают и делают помимо него? Хотелось бы послушать главу нового правительства, но тот был нем, а вместо него рвался с монологами Родзянко, – да уже не просто председатель Думы, но председатель какого-то неслыханного Верховного Совета – вроде как при Анне Иоанновне, – роль которого рядом с правительством вовсе была не ясна, а после повторений и переспросов оказалось, что Верховного Совета никакого и нет, это просто оговорка. Ничего себе оговорка – три раза медленно пропечатанная на ленте!

Как это можно всё мешать? И что у них там творится в умах?! – Рузский не мог проникнуть в повороты думских политиков. Сперва он нехотя принял распоряжение задерживать Манифест, отсылал их разговаривать со Ставкой. Но если подумать, что дело идёт к Учреди-

тельному Собранию, тогда, очевидно, и к республике? – тогда конечно Манифест Николая надо задержать решительно. И главное – остановить, чтоб нигде не присягнули Михаилу.

В соседней комнате уже несколько раз покашливал Данилов – очевидно, в расчёте, что Рузский проснётся, но не решаясь будить.

И состояние разбитое, и не уснуть уже. Не подымаясь из постели, Рузский позвал его.

Плотный, здоровый Данилов был бодро дневной. Надо бы ещё раз категорически повторить от имени Главнокомандующего запрет распространения Манифеста, а главное – ни в коем случае не приводить к присяге. Вот и готово, вот и ручка.

Рузский, подмостясь подушками, подписал на картонной подкладке.

Ну, и какую-то надо ориентировку разослать для разъяснения. Почему задержан? – будет Учредительное Собрание. И подтвердить назначения Львова и Николая Николаевича.

А вот тут Рузский понимал, что – не может так быть! Положение великого князя теперь зашатается тоже.

– Ставка подтвердила, Николай Владимирыч.

– Ну, рассылайте, что ж, – вяло уступил Рузский.

Не надо было за всем этим гоняться, не надо было соучаствовать…

И вот какую телеграмму Данилов тоже принёс на согласовку. Всем командующим армиями, Двинским округом, запасо-ополчениями и начальникам военных сообщений. Что на всех железных дорогах надо установить контрольные пункты и дополнить службой разъездов и облав – чтоб изолировать войска от возможного проникновения агитаторов и не допустить образования в тылу шаек грабителей и бродяг.

– А из Ставки общего приказа нет?

Нет.

Хорош Алексеев! Как же можно так пасть? В угождении новым властям.

Не шевелясь ничем, кроме руки, взявшей бумагу, прочтя раз и два, Рузский, затылком на подушке, задумался. В этом естественном для армии и как будто домашнем приказе расщеплялась, однако, бездна. Сегодня за ужином ему казалось так легко ладить с новыми властями. Но эта телеграмма напоминала, что – нет. Вот приехала вчера депутация-банда в Полоцк, а прийми она чуть правей и попала бы уже не на Западный фронт, а на Северный. Северный – со столицей рядом, и все пробы будут делаться на нём, и все банды посылаться – раньше всего сюда.

Алексеев не делал этого шага – так приходилось делать Рузскому. Все убеждения и настроения Рузского прилегали к тому, чтобы дружить и ладить с новым правительством, это были всё интеллигентные люди, не тупое недомысленное самодержавие. Но уже видно, что неспособны они будут эти банды останавливать.

А при этих бандах – нет его как Главнокомандующего фронтом, и нет самого фронта, и нет воюющей России. И неизвестно тогда, зачем всё и начинали.

Оставаясь генералом, он не имел выбора.

И с горькой складкой сказал Данилову:

– Добавьте, Юрий Никифорович: что к таковым шайкам главкосев приказал применять самые безпощадные меры.

И, отдав бумагу, продолжал лежать в безсилии.

366

Спали коротко, но мертво, не ощущая толчков вагона: сколько перед тем не выспано в Таврическом. Еле выдрались в явь уже на последних стрелках. И – трудно было подниматься, и – сразу разила память о петербургском хаосе, это после ночной псковской сказки.

Так и не умылись.

Так и с генералом Ивановым по дороге не встретились, да теперь это было не нужно.

Мрачный, с больным, старым видом Гучков, сразу небритый, подумал, решил:

– А пожалуй, Манифест будет у вас безопасней. Я – на виду, я…

Достал из внутреннего кармана бумажник, из него – заветные сложенные листики, передал Шульгину.

Шульгин охотно – в свой бумажник и в такой же свой карман.

Головная боль его не совсем прошла, а притупилась.

Было раннее морозное утро. Восходящим солнцем розовило высокобокую кирпичную церковь у Скотопригонного Двора.

Этих самых Северо-Западных дорог начальника, Валуева, как раз близ Варшавского вокзала три дня назад и расстреляла, растерзала толпа, депутаты знали. Назначенный Бубликовым заместник Валуева сразу вошёл к ним теперь в вагон. Не желал он быть растерзанным, как Валуев, и отказать толпе не мог ни в чём. Но предупредил депутатов, что настроение очень возбуждённое, об их приезде знают, ждут, – и советовал им ни на какие митинги не ходить. А он за них – отказать не смел.

С возвратным тяжёлым «таврическим» чувством депутаты вышли в тамбур, сходили по ступенькам. Они ведь ускользнули тайно от Совета, – и как их теперь встретят? Уже к их вагону стянулась толпа, больше сотни, – солдаты, и молодые офицеры, и публика.

Гучков первый спускался грузно со ступенек, а Шульгин оставался ещё выше него на вагонной площадке. И лица публики увиделись ему угрюмыми – и молниеносно блеснуло в нём: чего ж таить? от кого теперь это секрет? вот сейчас он их обрадует и разрядит.

И, не успев посоветоваться с Гучковым, оставаясь на площадке, со своей полувысоты, взмахнув лёгкой рукой, крикнул своим тонким, не слишком громким голосом:

– Государь – отрёкся! По болезни наследника на престол вступает император Михаил Александрович!

По лицам замелькало – удивление? согласие? Раздалось и «ура», но тихое, жидкое, не единое.

И сразу – усилилась вокруг депутатов суета полносвободной толпы. И кто-то приглашал их, кто требовал и тянул – сразу в несколько мест, и везде их ждут. И даже не успели они с Гучковым сговориться – их разделили.

Но Шульгину понравилось такое возбуждение. Во всяком случае, российская масса не оказывалась равнодушна к политике, как на неё клеветали. Так она – вот так всегда и тянулась? Или раззадорили её в последние дни?

Шульгин бодро шагал за сопровождающими. Простой будничной ясности не было в голове, но была сказочная приподнятость – выше и сильней себя, идущего по платформе, – к речи, к которой никогда не готовился. Свои ноги ощущал как не свои и свой язык как не свой, – лишь несовершенно данные ему, совершенно плывущему в воздухе. И листики императорского отречения в кармане были как особая награда, тайная ото всех.

Суждено ж было именно ему нести на груди эти два невесомых листика, перелистывающих всю русскую историю!

Вид на перроне молодых офицеров с фронтовыми погонами и свежий отрезвляющий воздух вместе открыли Шульгину, вот сейчас, на ходу, ещё один важный довод, почему необ-

ходимо было брать отречение: таким образом снимется присяга со слишком верных офицеров и будут спасены их жизни от расправы.

Его провели в билетный зал. Тут буквою «П» в четыре шеренги была построена какая-то пехотная часть – да очевидно, сообразил Шульгин, не для чего иного, как в ожиданьи его и чтобы слушать его.

А четвёртую, свободную, сторону замыкала вокзальная толпа.

Не миновать было держать речь.

Раздались команды, хлопки ладоней по ложам винтовок, стук прикладов о пол – и всё смолкло. Шульгин стоял на свободном пространстве пола – никак не выше их, потерянный среди них.

Увидел эти серые ряды – и его пронизала ответственность и сознание своей неготовности. Если они ждали его здесь 15 минут, то они больше были готовы к этой встрече, чем он всей своей политической жизнью и всеми своими речами. Он так ощутил: всё, что он может сказать им сейчас, – будет мельче этого часа.

Но у него же было само Отречение в кармане! – почему же надо было его таить?

На виду у всех он вынул его – из кармана, из бумажника, развернул – и сразу стал читать, ещё тёплое от ночной подписи, сразу – вслух, ждущему народу.

– В дни великой борьбы с внешним врагом… Господу Богу угодно ниспослать России новое тяжёлое испытание…

Его голос был и всегда слаб, а особенно для зала с несколькими тысячами людей. Но до такой степени молчали они и даже, кажется, не дышали, что слова неповреждённо вытягивались по размерам зала.

– …почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему… И признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя Верховную власть…

Второй год, от вступления в Прогрессивный блок и до вчерашних ночных переговоров, – значился и сидел Шульгин как будто в противостоянии царю. Но вот, добыв эти листочки, он как бы слился с царём, он произносил эти слова как собственные свои, весь исходя царскою болью:

– …наследие Наше брату Нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского… Всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга… повиновением Царю в тяжёлую минуту всенародных испытаний…

Шульгин кончил, проглотнул, скорбно поднял глаза от листков – и увидел, что штыки как будто закачались, заклонились, заколыхались. И хорошо ему видимый молодой румяный солдат – плакал.

А там, глубже – и ещё кажется, по звуку.

А других звуков – не было в зале. Никто не крикнул ничего дерзкого или противоречащего.

Ни – одобрительного.

И от этого понимания между царём и народом – Шульгин продрогнул и заговорил легко, от своего внутреннего, только не цельносвязно:

– Вы слышали последние слова императора Николая Второго? Он показал нам, всем русским, как надо уметь забыть себя для России… Сумеем ли мы, разных званий и состояний, офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, богатые и бедные, – всё забыть для того, что у нас есть единое, – наша родина, Россия?.. Неумолимый враг раздавит нас, если мы не будем все заодно. Всем – собраться вокруг нового Царя! Оказать ему повиновение. Он поведёт нас!

И через силу голоса, ещё отрываясь, ещё отталкиваясь от потока своей же речи:

– Государю императору – Михаилу Второму! – провозглашаю – ура!!

И – «ура!» – громкое, горячее, никем не нарушенное – заполнило зал!

И в этот миг Шульгин ощутил, что монархия – спасена, всё было сделано верно! Извлекли одного несчастного монарха – но спасли монархию и Россию!

Без сил, с головой кружащейся, но счастливой, Шульгин шёл, нет, вели его куда-то по коридору, да неужели ещё на следующую речь?

Вели. И какой-то железнодорожный служащий твердил ему, что его требуют к телефону. Из Думы, Милюков.

И повели в комнату, где ожидала снятая трубка. Голос Милюкова был так хрипл и надорван, отличимо по телефону:

– Александр Иваныч?.. Нет? Василий Витальич? Вот что: ни в коем случае нигде не объявляйте, не показывайте Манифеста!

– Как?! А я уже объявил!

– Ко-му?

– Да всем здесь… Какому-то полку… вообще народу! И замечательно приняли. Кричали «ура» императору Михаилу!

– Ай, зря! Ай, зря! Этого ни в коем случае было нельзя! Вы не знаете, обстановка резко повернулась против монархии. Тут, у наших соседей, настроение сильно обострилось… Мы приняли по телеграфу текст, – этот текст совершенно их не удовлетворяет… От нас требуют, необходимо – упоминание Учредительного Собрания. Пожалуйста, не делайте с Манифестом никаких шагов, от этого могут быть большие несчастья…

Шульгин недоумевал: какое это всё имеет значение, если народ принимает на «ура» и со слезами?

– Жаль… Жаль… А принимают замечательно… Тогда я пойду предупрежу Гучкова, он тоже, очевидно, где-то объявляет…

– Идите остановите! А потом сразу приезжайте оба на Миллионную 12, в квартиру князя Путятина.

– Зачем?

– Там будет… продолжение. Мы все едем туда сейчас. Пожалуйста, поспешите.

Шульгин поспешил, но узнал, что Гучков – на митинге рабочих в железнодорожных мастерских и там складывается не так благоприятно.

Тогда он забезпокоился о самом тексте на своей груди, замялся, не знал, как быть.

А уже его звали, тащили ещё к одному телефону. Это звонили – от знаменитого теперь Бубликова, инженер Ломоносов. И как раз в точку: если депутат хочет передать безопасно *акт* – к нему сейчас на вокзале подойдёт инженер Лебедев. (Да сколько же их, Лебедевых?)

Вот так незнакомому – и отдать тайком?.. Великий акт Отречения?..

367

Бубликов спал, и к телефону из Думы подошёл бодрствующий Ломоносов. А звонил сам Родзянко, несмотря на ранний час. Вопрос его был:

– Где Гучков?

Ломоносов такого касательства, кажется, не имел, но действительно знал, звонил ему свой инспектор с Варшавского вокзала:

– Уже полчаса как приехал.

– Так где же?

– А что, его нет? Не могу знать. Сейчас проверю.

– Проверьте, голубчик, мы очень волнуемся. Нам нужен подлинник акта, как бы у них там не отняли, время такое!

После неудавшегося ночью захвата Манифеста Ломоносов стремительно соображал выгоды:

– Понимаю… Хотите – спасём?.. Начинаю операцию. Доложу по исполнении. А как с печатаньем? Мы готовы.

(Не совсем ещё готовы, даже не готовы, но через час служащие соберутся.)

– С печатаньем…? С печатаньем, – мнётся Родзянко, – задержка.

– Но мы готовы!

– Хорошо, будьте.

– Веду операцию!

Ломоносов становился, кажется, самый военный человек в Петрограде в эти дни. Почему задержка с печатаньем? Какое ещё колебание? Но некогда размышлять, надо захватывать подлинник Манифеста, это – сила!

А у телефонов сидит дежурный – Лебедев, вызванный позавчера давний сослуживец по паровозным опытам. Боевой, наскокистый, таких Ломоносов любил подбирать.

Вот и боевая задача: быстро на Варшавский! Ищите там депутатов, скажите, что от Бубликова, имя уже известное, по поручению Родзянки, и пусть незаметно вам сунут Манифест. Вас никто не знает, вы – унесёте. И – сюда!

Сорвался Лебедев. А Ломоносов – сам дежурный по телефонам. Сна как не было, острый бой! Тигрино расхаживал, быстро соображая. В ночные да рассветные часы только и делается революция! Впрочем, уже светло, девятый час. Дума всё звонит, висит на душе: где Гучков? где акт? Какие они безпомощные, они бы всю революцию прохлопали без Бубликова и Ломоносова! Звонить на Варшавский, звонить на Варшавский. Один, другой, третий телефон – то не откликаются, то позвать не могут. Это говорят из министерства путей сообщения. По поручению комиссара Бубликова – немедленно найдите одного из двух депутатов, они у вас на вокзале, позовите к телефону. Это – срочно, это – именем революции, исполняйте немедленно!

Исполняют.

Что за дни и часы! – стоит для таких родиться. Бубликова не будя, расхаживая по кабинету, качками ног из пола выбирая, вытягивая новые замыслы. Величайший документ всей русской истории! – схватить! По неснятому телефону названивает Дума? – ах, надоели, операцию – ведём!

– Это кто?.. Депутат Шульгин? Здравия желаю. Говорят от комиссара Бубликова, по поручению Родзянки. У вас там затруднения? Сейчас вас разыщет на вокзале наш инженер, его фамилия Лебедев, абсолютно верный. Вы – *отдайте это* ему, оно при вас? И у вас будут руки свободны… Не за что! Служим свободной России!

И снова расхаживать по комнате, в охотничьем азарте. То гонялись за царским поездом, то за Ивановым, то теперь за отречением, ну деньки!

Десятый час. Пробудился и Бубликов – весь помятый, лохматый, расстроенный. Но – одною искрою от Ломоносова передалась ему задача, – и уже в движении и потирает горящими ладонями:

– А что же Лебедев не звонит? Да не попался ли и он там? А катайте-ка и вы, Юрий Владимирыч, я у телефона – сам.

Что ж, и разумно. Руки – в чью-то путейскую кожаную тужурку, на голову – путейскую фуражку. Вниз по лестнице – и в дежурный автомобиль.

Однако мороз, за уши хватает! А солнце разгорается, погода для гуляний.

Да тут и ехать нечего: чуть по Фонтанке да мимо Измайловских рот. Как раз тут и начали свергать Петра III. Измайловский проспект весь увешан красным. А народу, а народу! и безпорядочных солдат, и гражданских, и все валят по мостовой! Тут пешком бы пройти быстрей.

Ближе к вокзалу – всё гуще. Автомобиль не стреляет, не догадался и положить солдат на крылья, не так легко пропускают. Еле-еле проманеврировали мостом через Обводный. И – к вокзалу.

И хорошо – увидел Лебедева в толпе. В своей щегольской шубе с поднятым воротником – идёт как важный барин. Не к месту оделся, могут попотрошить.

Крикнул ему, махнул, – Лебедев одной головой показал: дальше.

Задача теперь – ещё раз в этой массе развернуться. Ругается толпа, недовольна. Ломоносов бодро объясняет им путейские надобности.

И – опять через тот же мост (тут и кокнули Валуева).

Да кажется, и Плеве тут шарахнули, хорошенькое местечко.

Подобрал Лебедева. Взлез на сиденье, обтягивая шубьи полы. И – шёпотом:

– Вот. – Листики суя. – А Гучков арестован рабочими!

– Как? За что? – обомлел Ломоносов. Чего-чего, не ожидал!

Качка Революции, они все такие!

Как бы и нас не схватили по пути.

Фонтанка. Министерство. Кабинет Бубликова.

– Выйдите, господа, на минутку. Сосновский, никого не пускать!

Остались вчетвером: Бубликов, ещё один комиссар, Ломоносов и Лебедев.

Положили на стол, склонились, впились.

– Достукался Николашка! – припечатал Бубликов.

Читали жадно, молча.

И Бубликов же первый догадался:

– Какой же лукавый византиец! Почему не по форме, а депеша? При случае – кассационный повод?.. А почему отрекается за наследника? Это по какому закону? Ага: на время безпорядков снять с сынка одиум. А Михаил в морганатическом браке – кто же следующий наследник? Опять Алексей! Здóрово!

368

В огромном депо с остеклённой железно-решётчатой крышей густилась большая чёрная толпа рабочих – но совсем не для работы, как и нигде её не было эти дни, и гораздо многочисленней, чем могло бы их здесь работать. Должен бы быть тут ремонтируемый паровоз – не было и паровоза, вывели. Осталась только высоко-взнесенная узкая лестница, с изломом площадки – очевидно, для ремонта паровоза в его верхних частях, – и вот туда-то Гучкову пришлось вскарабкиваться. Лесенка была не со ступеньками, а с железными круглыми прутьями, неудобными для ботинок с галошами, да ещё больной ноге, а под руками – те же прутья, нечистые, мазутно-липкие. И вся просторная дорогая шуба Гучкова так стеснительна в лазании, и два раза попала себе же под ногу, наверно было смешно со стороны. И едва не разбилось пенсне, это была бы совсем катастрофа. Задержался, положил его в карман. А когда поднялся на площадку – снова насадил на переносицу.

Очень тут было нешироко и боязновато свалиться, к счастью пригорожены перильца из железных прутьев. Но ещё неприятней от этой гудящей чёрной толпы внизу. Просто все разговаривали со всеми, но вместе это соединялось и возносилось как угрожающий гул. И эта собранная толпа, этот её неуправляемый гул далеко внизу укрепляли ощущение прорвавшейся революции. Поздно взял отречение, поздно! Не опередил. Та масса, которую всегда боялись разбудить, – вот, была разбужена.

С ним тут, на площадке, уже стояло несколько человек. Он не успел их рассмотреть и понять – кто, он даже лиц их не видел, потому что эти люди подступили вперёд к краю. Видел только плечи в простых пальто или рабочих куртках, два поднятых воротника, два опущенных, затылки в простой стрижке и фуражки, шапки сзади. Гучков, естественно, ожидал, что сейчас к нему повернутся, пригласят говорить, объявят, – но из четырёх никто не обернулся, даже тот, кто руку подал ему на последнем взлазе, – а один стал говорить:

– И кто ж у них в этом новом правительстве, товарищи? Теперь, когда всё яростней бьются волны народного гнева в стены дворцов, – вы думаете, пригласили кого-нибудь из трудового народа?

И Гучков понял, что все они здесь собрались не его слушать, что уже раньше начался их митинг, а только замолкали и смотрели на него, когда он шёл через депо и карабкался.

– …Князь Львов! Небось – по десяти губерниям поместья его раскиданы. Кня-азь! Да другой же Львов, тоже небось кня-азь, как бы тому не браток двоюродный. Да текстильный фабрикант Коновалов! Половина текстильной промышленности у него в кармане, а теперь и всей промышленности будет министр!

Лица не видел Гучков, а выговор был – не истого рабочего, но образованного, который подделывается. Однако внизу гудели возбуждённо, возмущались.

– А министром финансов – господин Терещенко! А кто такой Терещенко, кто знает? А на Украине все его знают, это – сахарозаводчик известнейший, у него сахарных заводов двадцать! да тысячи десятин земли! Да собственных миллионов сколько-то! А теперь и народные деньги ему отданы, две кучи будет перемешивать.

Угрозно гудело народное море снизу. Ах, как неудачно всё началось, перебили – и откуда теперь вести? Это глухое, непробиваемое, последнее! – разве на это возразишь в митинговой речи?

– Ихняя Дума – реакционная! антинародная! буржуазная! Все они в Думе – капиталисты и помещики! И таких же в головку выбрали, на новый народный обман! Вот и *господин Гучков* к нам пришёл!

От этого восклицания, как от прямого удара, даже обвалилось внутри, в живот. Оратор на миг обернулся – мелькнула несомненная агитаторская социал-демократическая физиономия.

– Да он вам объявит сейчас, что он с рабочим классом сотрудничал, что он ваш друг. Он объявит вам сейчас, что Рабочую группу при Военно-промышленном комитете сохранял и вёл. Верно! Соглашателей – это он собрал! Как нас лучше проворачивать на кровавое мясо! Как нас пускать в эту трубу безконечную, из которой возврата нету нашему брату! Дума и хочет вести войну без конца!

А у Гучкова как раз мелькала мысль – как-то начать с Рабочей группы, использовать эту связь, и вот обрубили перед самым лицом. И с этим обрывом, как от внезапного удара в живот, и в полушаге от обрыва, где свалишься – живым не встанешь, Гучков почувствовал, что теряется: вот сейчас ему дадут слово, а он не знает, что говорить. Да, он знал Рабочую группу, в общем вежливую и ручную, но никогда не знал вот этой рабочей массы, только теоретически. Ни одного лица не разглядеть, ни отдельного голоса выделить – масса! И уже бросила ей расчётливая рука на расхват – князья! – помещики! – капиталисты! – миллионщики!.. Как через это перелезать?

Этой ночью в зеленокожий царский салон Гучков уверенно-тяжело вступил представителем народа. И вот в мазутном депо он неловко взобрался наверх – представителем ненавидимых бар. А народ – глубоко внизу.

Он не терялся в Трансваале под снарядами англичан, в Маньчжурии под пулями хунхузов, Гучков добровольно оставался с ранеными в окружении под Лодзью, а здесь вот – испугался! Физически зинула перед грудью его эта пропасть – подкинутого вверх непонятного барина и разъярённой, понимать не желающей толпы.

И – как обратиться к ним? «Господа»? – это сразу под насмешку, всё потерять с первого слова. «Товарищи»? – подольщаться невозможно.

– И о чём они там сговорились с царём – вот сейчас он нам пусть расскажет!

Как бритвой всё перерезано. О войне, о народном подвиге – перерезано. О псковском совещании – перерезано. А уже – говорить, на него оглянулись, его даже чуть подтягивают или подталкивают к страшному переду – тут и столкнут шутя, – а как же обращаться:

– Сограждане! – тоже плохо, но уже сказал. И самому слышно, что это – дуто, из римской истории, не дошло, а надо дальше. И принудительно дальше, может голос не тот, и не те слова, но что-нибудь же и значит тренировка десятков-десятков произнесенных речей: пробитые дорожки основных мыслей, и каждое слово привычно стягивает к себе десяток верных.

– Лютый враг, наш общий враг, стоит на нашей русской земле и хочет поработить нас всех – и крестьян, и помещиков, и рабочих, и фабрикантов. Да, я работал с вашими лучшими активистами, они помогали нашей обороне – и это во всех странах так. Потому что они – русские люди, и так должно быть. Но война не могла быть выиграна, пока во главе стояло гнилое правительство и пока вокруг царя сновали тёмные люди. И вот мы заставили царя освободить место народному правительству! и он согласился уступить трон! – чтоб уже ничто не мешало нашей русской победе!

Текста – нет, да и не обстановка его читать, но повторяя его главные патриотические аргументы… И тогда, громче самого себя:

– Этой ночью во Пскове император Николай Второй отрёкся от российского престола! И передал его своему брату, ныне императору Михаилу Второму!

– Второго на шею? – закричал кто-то резко. – До-лой!

Ещё в несколько голосов, но очень настойчивых, все из одного места:

– До-лой!

– Не хотим!

– Никто вам не поручал!

– Помещики!

И прежний оратор, рядом, надрываясь:

– Сговорились за нашей спиной! Князья!

И несколькими этими криками вдруг продёрнуло чёрную поверхность толпы, и она загудела враждебно, как нахмурилась к буре.

И понял Гучков, что всё проиграно, ничего не вернуть, не удержать. Замолчал.

Такого поражения он не испытывал за всю свою ораторскую жизнь.

– А задержать его самого, голубчика!

– А пощупать!

И социал-демократ уже брал его за плечи, арестовывая.

А ещё проще было его отсюда столкнуть.

Но с другого места, не оттуда, где эти кричали группой, раздался сочный, сильный отпускающий голос:

– Поволь ему, поволь! Он к нам гостем пришёл, что ж мы – не́люди?

И опять по толпе прошла волна, но уже облегчённого, дружелюбного говора.

369''

(газетное)

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Состав…

Национальное правительство наконец создано героическими усилиями всего народа! Радостная весть как умиротворяющий благовест, как «Ныне отпущаеши»… Окончена безумная скачка министерских смен…

ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНОВНИКОВ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ.

Государственный банк и все частные банки будут открыты сегодня для производства всех операций в течение двух часов.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЕРЕНСКОГО И ЧХЕИДЗЕ. Министр юстиции Керенский и председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Чхеидзе уполномочили нас сообщить, что всякого рода приказы, в которых солдаты призываются не повиноваться офицерам и не исполнять распоряжений нового Временного правительства, являются злостной провокацией.

РАЗГРОМ МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

РАЗГРОМ СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…

ПРИКАЗ ПО ГОР. ПЕТРОГРАДУ № 3

Все томившиеся в тюрьмах за свои политические убеждения узники – освобождены. К сожалению, вместе с ними получили свободу и уголовные преступники. Эти убийцы, воры и грабители, переодевшись в форму нижних чинов, нагло врываются в частные квартиры, грабят, насилуют, наводят ужас. Приказываю всех таких лиц немедленно задерживать и поступать с ними круто, вплоть до расстрела…

М. Караулов

Приветствие социалистов-революционеров А.Ф. Керенскому.

…в вашем лице, Александр Фёдорович… стойкого неустанного борца за народовластие, вождя революционного народа…

ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ ПРИЗНАЛ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Ликвидирована квартира Союза русского народа в Лиховом переулке в Москве. Конфискованы знамёна, прокламации, значки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Неоднократные попытки старого правительства получить хлеб не имели успеха вследствие недоверия населения к старой власти… Теперь население пойдёт навстречу новой власти… Немедленно приступить к реквизиции хлеба у собственников… Продовольственная Комиссия, обращаясь к чести и достоинству каждого гражданина, просит ограничить себя в потреблении продуктов…

… Седой старик взял «Революционный бюллетень», перекрестился и сказал: «В икону положу».

По слухам, по дороге в Петропавловскую крепость скончался бывший председатель совета министров **Штюрмер**.

ПО КОМИССАРИАТУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. Комиссар Государственной Думы Бубликов дал телеграфные указания по линиям… Благодаря этим указаниям удаление членов жандармской полиции не создаст никаких затруднений… Комиссар Бубликов получил со всех концов депеши, приветствующие… Всеобщая готовность удвоить усилия по ремонту подвижного состава.

НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ. Последние дни циркулируют неизвестно кем пущенные слухи явно провокационного характера о крупных неудачах, постигших нашу армию на риго-двинском фронте. Все эти слухи лишены всякого основания.

ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ …Граждане, доверьтесь этой власти все до единого, дайте новому правительству совершить великое дело освобождения России… Да воспрянет… да укрепится… да возгорится… Заря свободы загорелась… Проявить величайшее самообладание… Пусть каждый несёт жертву… Пусть каждый земледелец везёт хлеб… Пусть торговец откроет свои амбары… Пусть рабочий класс с удвоенной энергией… Пусть в общем порыве забудутся старые обиды!..

ГОЛОС ЧИНОВНИКОВ ВЕДОМСТВ. В настоящие исторические дни мы, служащие министерства… проникнутые глубоким сознанием важности… радостно приветствуем и выражаем… во имя свободного развития Отечества…

…Заключённым в Государственной Думе полицейским офицерам разрешили получить из дому постельные принадлежности. Они открыто заявили, что такого внимательного отношения к себе не ожидали.

Служащие и прислуга **Зимнего дворца** командировали депутацию к министру юстиции Керенскому… выразить чувство солидарности с освобождённым народом…

Москва. Арестованы все жандармские чины всех московских железных дорог. На Александровской ж-д конторщик арестовал всех лиц, заведующих службой движения.

На Хитровом рынке. …Узнав, где водка, хитровцы связали переодетых полицейских, привели их в Думу и заявили: «Вот наш дар новому правительству. Даже мы, хитровцы, понимаем высокоторжественный момент великой революции. Может быть, если б это случилось 20 лет назад, среди избранников народа были бы и мы». Хитрованцев приглашали зайти в Думу, но они отказались: «Пойдём охранять наши углы, как бы без нас не сбили слабых на алкоголь».

Убит тверской губернатор Бюнтинг, оказавший сопротивление революционному движению… Был ярый реакционер.

АРЕСТ РЕННЕНКАМПФА, усмирителя революционного движения 1905 года…

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ… в довольно большом количестве… От общественных организаций, земств… от гарнизона Царицына… от духовенства… от завода взрывчатых веществ… от совета присяжных поверенных…

АРЕСТ гр. КОКОВЦОВА. Сегодня утром бывший председатель совета министров граф Коковцов появился в одном из петроградских банков и предъявил чек на довольно крупную сумму денег… Задержанный протестовал против ареста, указывая, что ему выдан свободный пропуск по городу и квартира его освобождена от обысков. Несмотря на протесты, граф Коковцов под конвоем был доставлен в здание городской думы. Комиссар не счёл возможным выпустить графа и обратился за указаниями в Государственную Думу.

Действия англичан в Месопотамии…

СВИДЕТЕЛЬСТВО. Среди населения Петрограда циркулирует слух, будто со Спасо-Преображенского собора были сняты пулемёты… Благодаря этому собор неоднократно подвергался обстрелу. По долгу священства свидетельствую, что никаких пулемётов на соборе никогда не было, это подтверждают и неоднократные обыски студентами и солдатами. Граждане, слухи могут повести вас по ложному для отечества пути. Духовенство далеко от мысли идти вразрез нынешнему народному движению. Да здравствует обновлённая Россия и да расточатся все внутренние и внешние враги её.

Протоиерей Адриановский

370

Кутепов не достал спального места и сидел в купе.

А соседи, переполненные петроградскими событиями, везли их с собою в Москву, – и по этому переполнению и по тесноте в вагоне не спя, весь вечер и всю ночь оживлённо разговаривали. И публика сидела из класса состоятельного, но, заметил Кутепов, никто не проявил сочувствия к положению Государя, опасались только, чтобы революция не перешла в разбойничество. Государь уже для всех казался обречённым, а обсуждали преимущество перед ним великого князя Михаила Александровича, и какой будет счастливый выход, если трон перейдёт к нему: разрушительная революция сразу будет и остановлена. А один господин оказался сторонник республики – и возник долгий спор о преимуществах республики и монархии. А старая дама в трауре возражала: ведь при республике евреи могут стать чиновниками или офицерами? этого представить себе нельзя. А другая ахала, что тогда не будет Пажеского корпуса, и значит, сын её, паж, не закончит? Как же быть пажам?

Кутепову были тошны все они и все их разговоры, и он притворился сидя спящим.

А заснуть не мог всю ночь.

Он убедился, что ничего не мог сделать в Петрограде, – и только скорей хотелось ему перенестись к себе в полк.

Поезда тянулись, стояли, шли с большим опозданием.

Только на рассвете пришли в Тверь.

Кутепов вышел на пустую платформу и прогуливался, скрипя снежком.

Вдруг к нему быстро пошли двое.

Оба были – солдаты, а в руках у них – обнажённые револьверы.

Они всё поспешней подходили, и ближе один крикнул:

– Руки вверх!

Никак нельзя было этого ожидать, он прогуливался в мирно-дрёмном состоянии. Но залегала в нём фронтовая закалённость нервов, всегда готовая к падению снаряда, взрыву, физическая невозможность испугаться никакой неожиданности. Он только выпрямился. Рук, конечно, не поднял. И, как понимал событие, ответил спокойно и чуть с насмешкой:

– В чём дело? Вы, может, думаете, у меня есть оружие? Да уже столько было обысков, уже ни у одного офицера не осталось.

(Его собственный револьвер, к счастью, был не на поясе, а лежал в саквояже, просто не успел достать и надеть.)

Но солдат сказал:

– Здесь в поезде говорят, что вы расстреливали народ в Петрограде.

Револьверы быди нацелены, увернуться – некуда. Но – «говорят», значит, не сами они с Литейного, а кто-то другой узнал.

Неторопливым спокойным баском ответил Кутепов:

– Не всякому слуху верь.

Тут резко ударили в станционный звонок – Кутепову по́мнилось, что не было второго, а ударили сразу три! – капризы революции.

И паровоз загудел в ответ.

Если б они на Литейном сами его видели, то достаточно было полсекунды – тут же его прорешетить.

Но они заколебались, а их вагон далеко, выяснять некогда – и кинулись опрометью, опустив револьверы.

Уже передался по составу удар – и трогались.

Но вагон Кутепова оказался рядом, и тамбур пустой, даже без кондуктора.

Кутепов быстро вскочил, поспешно прошёл по коридору. Чего у него быть не могло – это сколько-нибудь разложенных вещей: фронтовая собранность, всё на себе, а саквояж застёгнут.

Переполашивая соседей, он схватил его и выскочил.

Уже гонко пошёл поезд – но ещё вполне успел соскочить на ходу, и даже ещё на перрон.

И даже не поскользнулся.

Поезд ушёл.

И на этом перроне, который едва не стал концом его жизни, – нет, конец ещё не виделся, не знался, никому не дано его провидеть! – Кутепов ещё погулял для успокоения (сейчас оказалось, что он вовсе не был спокоен), пошёл к начальнику станции, отметил на билете остановку.

Пошёл в ресторан, неторопливо позавтракал. (А в голове – прокручивается Литейный проспект, и всё петроградское.)

Пошёл в кассу, узнал, что ожидается скорый Петроград – Воронеж.

И компостировал билет на него.

А из Воронежа можно будет пересесть на Киев, и на фронт.

И – ещё посмотрим!

И – ещё гулял по тому же перрону.

Документы – 13

ОБРАЩЕНИЕ К СОЛДАТАМ
выборного командира Преображенского запасного батальона
3 марта 1917

Вчера на общем собрании выборных солдаты постановили избрать: командиром батальона – подпоручика Заринга, батальонным адъютантом – поручика Макшеева…

Поименованные офицеры уверены, что им солдатами будет оказано полное доверие, а сами обещают с ними работать дружно и заодно.

…….

Предлагаю батальонному комитету обсудить, согласны ли призвать следующих офицеров:

– капитана Скрипицына
– подпоруч. Рауш фон Траубенберга
– прапорщика Гольтгоера

……..

Предлагаю распустить по своим квартирам без привлечения к работе в батальоне:

– подпоручика Нелидова
– подпоручика Розена
– подпоручика Ильяшевича…

……

Предлагаю арестовать впредь до выяснения:

– полковника кн. Аргутинского-Долгорукова
– капитана Приклонского

……

Командир Преображенского батальона
подпоручик Заринг

371

На киевский перрон Воротынцев выходил, уже зная, что поезд его на Винницу будет лишь после обеда. Но – скорей узнать новости! спросить свежие газеты, ещё раньше чем билет отмечать.

И мимо рослых железнодорожных жандармов (в Москве они уже исчезли, но и по пути были на местах, и тут) поспешил к газетному киоску. Свежих газет была кипа, расхватывали их жадно, – из разговоров понял, что до сегодняшней ночи Киев не знал ничего достоверного, все телеграммы о событиях задерживались. Но вчера вечером представители киевской печати были приглашены к командующему Военным округом, и тот объявил, что генерал Брусилов разрешил публиковать все телеграммы о перевороте. И теперь, состязаясь заголовками и шрифтами, газеты публиковали десятки, грозди новостей, петроградских и московских.

И прямо на ходу, как никогда не делал, как презирал, Воротынцев разворачивал одну и другую, и читал у окошка кассового, и дочитывал на случайном диване.

Кронштадт перешёл на сторону революции… Временное правительство… Половина имён – неизвестные, но вот Гучков, и Шингарёв. Это неплохо. Но где же Государь? В каком соотношении он с этим самовозникшим правительством?.. Союзные державы признали Временное правительство… Оч-чень поспешили… Но где же Государь? А, вот: царский поезд прибыл во Псков…

И всё. Никаких пояснений больше.

Но это – уже ничего. Верховный Главнокомандующий – в штабе Северного фронта, значит – при войсках.

Но слишком странная была неясность между ним и самовольным правительством. Надо же или разгонять, или признавать? А если правительство с ним уже не считается – то что Государь?

И – киевское. Так выходило, что сегодня и наступил первый день киевской разрешённой революции, Воротынцев как вёз революцию за собой. Исполнительный комитет общественных организаций, и во главе его – доктор, теперь пироги пойдут печь сапожники, может – и армиями будут командовать? И услужливый Брусилов, – знающие армейцы звали его *Главколисом*, – уже успел прислать этому доктору телеграмму, уверял, что *вся Действующая армия признала новое правительство!?* Что за идиотство, откуда он может это знать, что Армия – признала? *Когда* она могла признать, если здесь и телеграмм ни о чём ещё не было?..

А что – Румынский фронт, а Сахаров? Ни слова нигде. Как и о других генералах. Козырял один Брусилов.

И что же будет теперь с фронтом? Куда это всё качнётся?

Головоломно непонятно.

А вот, в согласии с военными властями, в Киеве уже были упразднены с сегодняшнего утра губернское Жандармское управление и Охранное, дела и архивы их переданы, конечно, совету присяжных поверенных, а офицерам гарнизона… разрешено создавать городскую милицию и войти в Исполнительный комитет.

С газетами на коленях Воротынцев сидел обезкураженный.

Ясно одно: скорей к себе в Девятую! Сейчас, когда так зашаталось, если кто и будет действовать разумно, правильно – то генерал Лечицкий.

Лечицкий из самых победных генералов русской армии, единственный, кто умел побеждать и в Японскую, умел наступать и в жуткое лето Пятнадцатого: за время отхода, частыми контратаками, взял больше пленных и трофеев, чем потерял из строя, а в конце отступления единственная его армия только и осталась на неприятельской земле. И в наступление Шестнадцатого наша Девятая взяла больше территории и пленных, чем какая из четырёх наступавших.

Только Лечицкий никогда не делал себе рекламы, как Брусилов, и о нём не кричали газеты. А теперь загноили в Румынии.

Самый вдумчивый и самостоятельный генерал. Если кто сейчас разберётся и решится – то он.

Быть с ним рядом!

372

Ну и окунулся Саша в революцию! Дома не бывал, дня от ночи не знал, спал в комиссариате, и то всё время будили, ни одного дела не делал подряд, а всё отзывали, отвлекали, отсылали на другое, не умывался, ел когда попало, – только по молодости и энтузиазму можно вынести всё это с удовольствием.

То была ревность: какие-то другие два прапорщика, Пертик и Волошко, действовали на Петербургской стороне со своими отрядами, но независимо от комиссариата, – и даже друг от друга независимо, хотя оба были от одной и той же Военной комиссии и с удостоверениями от неё: водворять порядок по своему усмотрению. Да как же можно на одной Петербургской стороне трём силам – и каждой по своему усмотрению?! Саша ходил разыскивал этих прапорщиков, и ругался с ними, – они выставляли свои полномочия, были непреклонны, а потом чуть не в один час куда-то исчезли – оба, и с отрядами.

Но уменьшилась охрана – со всех сторон стали просить охраны. Своего отряда Саше уже никогда не хватало, и он стал примыкать к ним новоявленных милиционеров с белыми повязками – студентов, привычная своя весёлая публика, и странно было, что Саша вознёсся теперь над ними как некий высокий начальник.

Но и правда: он чувствовал, что у него и осанка появилась, и голос, и взгляд военные, всё за эти дни революции только, – охотно его слушались те же и студенты, и рабочие.

Затем же надо было патрулировать, а в подозрительных домах и квартирах производить обыски. Но быстро выяснилось, что с ними на Петербургской стороне опять соревнуются какие-то другие патрули, сплошь из солдат, и то и дело прибегали жители в комиссариат жаловаться, что их ограбили. Простяцкий Пешехонов был уверен, что это грабители переоделись в солдатскую форму, но столько солдатской формы нигде не валяется, и Саша, ближе с делом соприкасаясь, уверился, что это – настоящие солдаты, так и приходят гурьбами из казарм, грабят и уходят. Охоту за ними пришлось производить и по ночам, а чтобы выдержать вооружённый отпор – пришлось ездить и на броневике, кто-то пригнал им и броневичок, точно такой, с каким Саша ездил брать Мариинский дворец. По донесениям жителей нащупали, в какую квартиру одна шайка сносила добычу, – нагрянули ночью туда, захватили двух дневальных, с десяток винтовок, револьверов, больше шестидесяти кошельков и бумажников, все уже от денег очищенные, и много часов – ручных, карманных, будильников, бронзовых статуэток, отрезов материи, серебряных ложек.

За этими, в общем плосковатыми, занятиями Саша пропустил интереснейшее дело, тоже проходившее через их комиссариат, но кому-то другому доставшееся: сбор сохранившихся документов разгромленной и полусожжённой Охранки! Вот это было – масштабное революционное дело, как и взятие Мариинского, – а Сашу оно миновало, очень досадно!

Саше доставалось менять караулы у комиссариата и следить, чтобы туда не лезли без пропуска, – высоко революционное занятие! Но и тут: когда пришла толпа вламываться и требовать оружия – Саша оказался в отлучке, на ловле этих шаек.

А тут – по всему Петрограду разнёсся слух, что ночами стал носиться по городу какой-то *чёрный автомобиль,* не даёт себя остановить и бешено стреляет во все стороны, наводя ужас. И Саша загорелся – остановить этот чёрный автомобиль! – если он по всему городу гоняет, то не может он Каменноостровского проспекта миновать, попадётся!

И на своём пятерном перекрестке устроили сложную засаду – и всю ночь дежурили и останавливали все до одной машины, но Чёрного Автомобиля не было.

Вдруг в одном задержанном автомобиле рядом с шофёром в луче фонарика оказался Мотька Рысс, в беличьей шапке и клетчатом красном толстом кашне, обёрнутом тщательно.

– Куда это ты, в два часа ночи?

– Задание, – значительно-загадочно сказал Матвей.

Пропуск-то у них был, от Совета, но он не говорил о цели рейса. Потянуло завистью, что вот в каких-то таинственных делах участвует Матвей – а Саша топчется в дурацком патруле.

– Ну, встретились, давай хоть пять минут поговорим, – пригласил он Матвея в комиссариат.

Свернули автомобиль, вошли.

Они ещё мало и знали друг друга, познакомились только этой зимой, и был между ними тон – не уступить первенства. Матвей очень поважнел, нисколько удивления не высказал командному положению Саши, да он и всегда был занят больше собой (от чего Саше обидновато было за Веронику). Крупные влажные губы его пожимались теперь даже с надменностью. О цели поездки не признался, а спросил:

– Листовку читал?

– Какую?

– Против офицерья. Моя.

– Так это – твоя?

И вспыхнул спор. Может быть, ещё неделю назад Саша прочёл бы эту листовку со злорадством, – чесать их, золотопогонников! Но за эти несколько дней…

– Да как же ты это понимаешь – революция разве может вести бои без офицерства? Не доверять даже тем, кто перешёл? – так это и мне не доверять? – повысил на него голос Саша.

А тот – остался невозмутим, надулся.

Так и не открыл куда, зачем – уехал. Очень хвалил своих межрайонщиков, говорил, что только они да большевики – деловые.

А Саша остался как заножённый, и останавливал ночные автомобили уже не так пристально, всё доспаривал с Матвеем. Эта встреча дояснила ему, что невозможно так дальше мотаться по всякой чуши. Он должен прорваться к чему-то крупному. Здесь – он терял время.

И тут у него соединилось то, что обрывками плавало. Эти дни он так мотался, почти бессонно, что и единственных двух газет не прочитывал. Но всё же во вчерашней газете не пропустил обращение их же, матвеева, Психоневрологического института, трёх социалистических фракций – российской, польской и еврейской: что *революция не доведена до конца*! Замечательно сказано! – это представилось Саше многозначительно, грозно! Не доведена до конца! – о, сколько ещё в ней случится, и ещё многие другие лица появятся, а эти, нынешние, – закатятся. Эти студенты правильно соображали! – ещё всё впереди, ещё и мы скажем своё молодое побеждающее слово!

А другое было обращение в «Известиях» – к *офицерам-социалистам,* – прийти на помощь рабочему классу в организации и военном обучении его сил. Днём Саше так спать хотелось – он это вялым взглядом прочёл, а сейчас, после стычки с Матвеем, вдруг ему и прояснилось: *офицер-социалист!* – да ведь это он и есть! И их совсем не много таких, может десяток во всём Петрограде. И – что-то именно по этой линии надо! Именно, листовке Рысса наперекор, – честным революционным офицерам устраивать военную организацию масс, вот сашин путь!

Чёрного Автомобиля так и не было, сняли засаду, пошли спать.

373

* * *

В Ревеле с утра был объявлен манифест об отречении Николая II, но безпорядки ничуть не прекращались. Толпа собралась у городской тюрьмы и требовала выпуска узников, будто бы замурованных в каземате (легенда ходила годы). Впустили делегацию, та ничего не нашла. Всё равно стали громить.

Комендант ревельской крепости вице-адмирал Герасимов, старый портартурец, ездил по городу от митинга к митингу, заверял, что Балтийский флот идёт вместе с народным правительством. Увещал очень мягко и близ тюрьмы. Ему ответили камнем в голову. Увезли замертво.

* * *

В Кронштадте в Морскую следственную тюрьму ещё приходили новые банды матросов, искать среди арестованных каких-то офицеров на расстрел. И другие матросы приходили – искать своих для освобождения.

* * *

В Петрограде с утра – слух, что царь отрёкся от престола, – хотя в газетах нет.

На улицах всё ещё нет трамваев, барских экипажей, барских автомобилей (реквизированы, ездят с военными). Редки извозчики. Толпа на Невском утеряла элегантный петербургский вид. Множество гуляющих праздных солдат. По манере революционных дней – люди валят не только по тротуарам, но и по мостовым, когда не надо потесниться для манифестации.

Манифестации, из кого собралось, идут без ясной цели и маршрута, просто радуются. Несут красные флаги и плакаты как хоругви, то с рисунками страшной чёрной гидры контрреволюции.

С тротуаров смотрят на них, вплотную друг к другу, – дамы в меховых воротниках и бабы в вязаных платках, котелки и простые ушанки. На лицах – радость, любопытство, недоумение.

Офицеров на улицах – больше, чем накануне. Без шашек.

На перекрёстках, где раньше были постовые городовые, теперь студенты-милиционеры с белыми повязками на рукавах пальто. Иногда проверяют пропуска автомобилей. Если те не останавливаются – им вслед стреляют в воздух.

Грузовиков с вооружёнными солдатами уже меньше гораздо.

Дорогие магазины многие закрыты. Но цветами и кондитерским торгуют.

* * *

Какие-то студенты обходили мелочные лавки и объявляли владельцам, что по распоряжению Исполнительного Комитета они должны продавать яйца не дороже 40 копеек десяток, масло – 80 копеек фунт. Боясь новых порядков и властей, торговцы подчинялись. Но потом узнали, что Исполнительный Комитет Совета не давал такого распоряжения, – и вернулись к прежней цене. Тогда возмутилась публика – и было близко к погрому лавок.

В хвостах: «Слобода-слобода, а нам всё равно топтаться».

* * *

Красной материи уже стало не хватать. Дворники, чтоб сделать обязательный теперь красный флаг, отрывали от старого русского флага голубые и белые полосы.

На шее памятника Александру III – огромный завязанный красный галстук.

Курсистка подарила во дворе свою красную блузку – её тут же всю разодрали на эмблемы свободы.

* * *

С кофейной Филиппова на Невском стали снимать императорские гербы. А с балкона соседнего дома – иллюминационные императорские вензеля с электрическими лампочками. Ударяли ломами по скрепам – и огромный вензель оборвался с перил – и всею тяжестью, с дробящимися лампочками, упал на тротуар.

Публика разбежалась – и снова стянулась любоваться.

* * *

На больших углах – толпишки, по 20, 50, 100 человек, а кто-нибудь на бочке, на тумбе, на плотном сугробе – и митинг. Ораторы – то студент, то штатский в потёртом пальто, то солдат с расстёгнутой шинелью, а под ней – замызганная гимнастёрка.

И уж конечно на площадях – на углу Садовой и Невского, у Казанского собора, на Сенатской, под самыми копытами Петрова коня.

– Ура, товарищи! Нет возврата проклятому самодержавию!

А вот вылез, доказывает, что теперь должны царствовать Алексей и Михаил. В ответ ему интеллигентные голоса:

– Да как вы можете?!.. Какие Романовы?? …Должна быть республика! Вы провокатор!

А на другом углу грозит оратор:

– Товарищи! Вы только что успели завоевать великую свободу, а у вас уже хотят её отнять под тем соусом, что надо охранять свободу!

Кричат из толпы:

– Врё-ошь! Никто не отымет! Пусть попробует!

* * *

Артист Александринского театра на таком уличном митинге взялся объяснять, что такое ответственное министерство. Закричали на него:

– Провокатор! Арестовать! В Таврический дворец!

* * *

Тёмно-красный особняк Фредерикса, два дня назад подожжённый гневной толпой, удручает мёртвым видом. Огонь выел всю внутренность дома, в чёрных глазницах груды мусора, обгорелые колонны. Сталактитами сосульки от замёрзших пожарных струй. Во дворе в мусоре копаются женщины, выискивают. В подвале сидит на корточках парень в смушковой шапке и отвинчивает кран от медного кипятильного куба.

С улицы глазеют на обгорелый дом. Стоит в котиковой облезлой шапочке: «Сколько добра здесь погибло, Боже. Зачем же жечь?» – «А ты кто? Не переодетый фараон?» Окружили: «Обыскать его! Штыком его!» Тот затрясся, вынимает паспорт. «Врёшь! Шпион! Сколько получил?» Отпустили. Отошёл неуверенными шагами, но на свою беду побежал. И толпа, и случайные солдаты, заряжая на ходу винтовки, с гиком и свистом кинулись за ним. Настигли его на узком горбатом мостике над каналом, припёрли к решётке: «Барона возжалел? Бей буржуя! В воду его!»

* * *

Слухи по городу: убиты и Вильгельм, и кронпринц, а германская армия уже складывает оружие. Говорят: сегодня в Кронштадте новые волнения. Говорят: на Васильевском острове убили двух полковников.

* * *

Где-то в полицейском участке, в подвале, нашли конфискованную *литературу*. Схватили, повезли сдать в Государственную Думу, но там сказали: некуда брать. Тогда отвезли в гимназию Гуревича на Бассейной, где много собирается разных собраний. Там и раздавали.

* * *

Какой-то старый генерал маленького роста пристаёт на улицах к проходящим солдатам и убеждает их, что отдание чести необходимо, ибо оно есть символ единения всей военной семьи. А неотдание чести разрушает армию.

Солдаты ухмыляются, не спорят: всё-таки генерал, хоть и чудаковатый.

Военный шофёр развязно объясняет генералу:

– Честь отдаётся погону, а погон установил царь. Нет царя – не надо ни погона, ни чести.

Генерал:

– А деньги с портретом царя признаёшь?

– Так то деньги.

* * *

Мать Леночки Таубе пошла в Государственную Думу узнать: третий день не может дозвониться в Кронштадт, а оттуда пришла телеграмма, что муж её арестован, – за что? А может – убит?..

Но к кому ни обращалась – все торопились, говорили, что не их обязанность, не знают, из Кронштадта не поступало списка убитых и арестованных офицеров.

* * *

Пришла в Таврический колонна гимназистов приветствовать Временное правительство. Их впустили в Екатерининский зал. Тут солдаты несли на руках распаренного Чхеидзе, а он вытирал пот платком. С высоты солдатских рук упрекнул гимназистов, что они приветствуют Временное правительство, а не Совет рабочих депутатов, который следит за правительством, чтоб оно не присвоило себе слишком много власти. Гимназисты поаплодировали ему.

Тем временем в зале продолжался митинг. На лестницу поднялся кавказец и, потрясая в руке кинжалом, обещал выгнать немцев из России. Ему аплодировали бурно.

374

Так ещё и вчера целый день было невозможно вырваться в Гатчину, и с квартиры княгини Путятиной никуда не уйти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.